

Дмитрий Ахметшин

**... КОГДА ТЫ
ПЕРЕСТАНЕШЬ
ЖДАТЬ**



16+

Дмитрий Ахметшин

Когда ты перестанешь ждать

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31511536

SelfPub; 2018

Аннотация

Смерть и Сон – побратимы, недаром оба этих слова начинаются на букву "С". Один загадывает загадки, другой помогает их разгадать, вернув тебя в тот далёкий день, когда детство перестало быть безоблачным. Когда твой лучший друг свёл счёты с жизнью.

Содержание

Часть 1

5

Конец ознакомительного фрагмента.

86

**Ты Будешь Мечтать О Чудесах,
Но Твои Чудеса Придут К Тебе,
Когда Ты Перестанешь Ждать**

Часть 1

Глава 1. Крылья Моего Друга Сломал Ледяной Ветер

Что особенного может быть в рядовой субботе, затерянной среди тёплых майских дней?

Сложно однозначно ответить на этот вопрос, верно? Это день, когда после трудовой или учебной недели члены начинают расслабляться, жилы – счастливо гудеть, а кости приятно потрескивать, как угли в костре. Он обычно не запоминается, только проснулся, и на тебе – уже вечер, и ты, позёвывая, валишься в кресло, чтобы почитать книжку. А сколько таких суббот случается в нашей жизни? «Повезёт, если она будет особенной», – скажете вы, но здесь я буду вынужден с вами не согласиться. Ведь в субботу, помимо всяких приятностей, могут случаться страшные вещи.

Эта суббота запомнилась мне как день, когда всё началось.

К десяти я, как обычно, был на конюшне, благо она совсем недалеко от дома и можно приходиться чуть ли не завернувшись в простыню. Этаким дневной вариант летучей мыши. В час я уже дома, поглощаю обед и болтаю с отцом. Он утверждает, что США ни за что не сунутся в Ливию: сколько бы там ни было нефти, у них имеется по гранатомёту на каждо-

го взрослого мужчину и по автомату на каждого ребёнка... и это при том, что даже женщины там воинственны, не уступая ни силой, ни статью мужьям. Сна ни в одном глазу, хотя всего час назад я падал с лошади, приходя в сознание только от криков тренера. Поэтому я просто сижу перед компьютером и убиваю время в «Цивилизации», лопая шоколадные печенья. По крыше сарая за окном прогуливается соседский кот. Я вижу, как сверкают бляшки на его ошейнике: тепло и солнечно. Он подкрадывается к какой-то птице, в то время как блеск ошейника привлекает со всей округи подслеповатых ворон: со стуком приземляются поодаль и приближаются короткими прыжками, боком, как умеют только вороны. Кот испуганно оглядывается, и я, отодвинув клавиатуру, чтобы разгрызая очередную печенку не усыпать её крошками, смеюсь. Глупая животина.

В семь вечера, когда даже книжка осточертела и я начал подумывать, что неплохо всё-таки выползти из берлоги, покататься на скейте, погонять в баскет или что-нибудь в этом роде, мне написали, что мой лучший друг погиб.

Сообщение на facebook я увидел в 19:08. Пришло оно в 18:42, и, откинувшись на спинку стула, я отчего-то думал, что мог бы прочитать его и попозже... скажем, пойти погулять, попрыгать на спортивной площадке возле школы, попинать камешки у канала, поболтать с местными ребятами, может, даже побороться с кем-нибудь на Скользком Камне, проиграть, и с брызгами, с отчаянным воплем влететь в па-

хучую воду... чёрт, да я на всё был готов, чтобы продлить беззаботную расслабленность этого дня, чтобы не нарушать священное таинство субботы...

Никакого таинства больше нет. Таинства субботы – как и покоя во всей моей жизни, во всяком случае, на данном её этапе.

Что это, возможно, нелепая шутка, мне даже не пришло в голову. Сообщение пришло от девчонки, которая лезла драться из-за любой шутки, даже самой безобидной. А если шутка относилась не к ней, а к кому-то из её окружения, на лицо выползала такая кислая мина, что все не могли удержаться от смеха.

В общем, она не могла так пошутить. Без восклицательных знаков, без курсива, красного цвета или без меры увеличенных букв, без грустных смайликов, и даже имя было написано с маленькой буквы.

Просто: «томас погиб».

Это могло быть только правдой, и ничем, кроме правды. Саша ни на чём не клялась, как делают это в передачах про суды, но свою серьёзность во всём и всегда она уже многократно доказала действием. Я схватился за телефон, потом аккуратно, как будто это была хрупкая модель самолётика, положил его на стол. Кому звонить? Сашке? Томасу? Саше страшно... в каком состоянии она возьмёт трубку, что мне доведётся услышать, как на это отвечать? Я пока не придумал. И Тому тоже... пальцы становятся как сосиски из мо-

розильника, когда думаешь, что сможешь выбрать его имя из адресной книги.

Я проинспектировал его страницу на facebook. Последний раз заходил вчера, днём. С аватарки на меня смотрит скуластое лицо в очках с тяжёлой чёрной оправой. Серьёзный, губы собраны в тонкий жгут, по обеим сторонам подбородка красные пятна... Держу пари, он мог бы вклеить эту фотографию в собственное свидетельство о рождении: Том всегда отличался странными шутками. Потом глянул страницу Александры: она в сети. Отправив сообщение с единственным вопросительным знаком, я откинулся на спинку кресла в томительном ожидании. Минута, другая... ничего.

Зовёт мама, и я подскочил, как ошпаренный: может, страшные подробности придут сейчас с другой стороны, ударят по затылку так, что подготовиться не успеешь, но та всего лишь хочет знать, почему сын до сих пор не вытер молоко, которое достал из холодильника полчаса назад.

– Ты хочешь сказать, «не выпил»? – отвечаю, и с кухни слышится ворчливое:

– Именно не вытер, дорогой. Я только что его пролила.

Я утверждаю, что оставляю эту привилегию ей, но с контраргументом, что достал-то его я и, собственно, я же не выпил, спорить сил совершенно нет. Я замолкаю; с кухни веет молчаливым изумлением. Обычно я не складываю оружие до тех пор, пока последний меч не оказывается сломан, а последнее ружьё не даёт осечку последним патроном.

Когда глаза мои возвращаются к экрану, там мерцает сообщение: «выходи на улицу встречаемся на мосту».

По-прежнему без знаков препинания и заглавных букв. Дело плохо.

Я живу в небольшом городке под названием Киттила, Финляндия. Когда я достиг такого возраста, что начал интересоваться цифрами и фактами, то узнал, что население на 2000 год составляло 6315 жителей. Порой возникает ощущение, что всех их знаешь в лицо. Конечно, это не совсем деревенька: у нас есть всё, что полагается иметь городу, включая музей, театр и скромное здание суда – двухэтажный коттедж с единственной колонной, непонятно для чего предназначенной и похожей на карандаш в пенале. А ещё герб и какое-никакое представительство в региональном совете. Наша семья переехала сюда, когда мне было семь. Из Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что по меркам мальчишки это случилось почти так же давно, как осада Мальты Оттоманской империей, я всё ещё помню сырые улицы и лица моих тогдашних друзей. Это было лихое время. Весёлое. По-другому, чем в *tyyni Suomi*, но всё равно оно запомнилось мне скорее с положительной стороны.

Впрочем, мы всё ещё о месте, где я живу сейчас.

Я прекрасно представлял, какой мост имеет в виду Александра. Во всей округе есть только один мост. Когда ты ещё маленький, ты думаешь, что в этом городке всё в единствен-

ном экземпляре. Каждый встреченный на дороге булыжник кажется уникальным, каждое согнутое велосипедное колесо на обочине дороги запоминаешь, и чуть не здороваешься с ним, когда видишь в следующий раз. Но потом начинаешь увлекаться подсчётом, и находишь значительность уже не в наборе ощущений, а в количестве. Так, во всяком случае, было со мной. Я узнал, что помимо Школы Высокого Образования, есть Первая Гимназия в расположенном неподалёку Соданкюля (население 9020), там же есть гимназии Вторая, и даже Третья, что, по крайней мере, в двух местах в городе пекут совершенно одинаковые на вкус блины, и даже начинку из перетёртых ягод туда кладут с одинаковым количеством сахара, и что, наконец, лазая по чужим дворам, можно наткнуться на совершенно одинаковые детские площадки, а родственники могут – вот уж никто бы не подумал! – прислать набор доктора, который у тебя уже есть. Точно такой же, даром, что присылали из Питера, а тот, который ты уже два месяца как пользуешь, родители купили прямо здесь.

Но вот мост так и остался единственным. Не в округе – вообще в городе. Как-то так получилось, что обычно дороги объезжали впадины с оврагами и холмами, а вот здесь раз – и одна из них заупрямилась и выгнула спину. Воды у нас немного... а точнее, вся она сосредоточилась в одном месте, будто капли, собирающиеся на дне блюдца. Это залив, изобилующий остатками деревянных мостков и заброшенными лодочными станциями. На карте он выглядит ну точь-

в-точь как дым из волшебной лампы с джинном, а волшебная лампа, стало быть, и есть наш Киттила. Одна струйка дыма в незапамятные времена, когда рука какого-то восточного принца потёрла бок сосуда и дым только начал извергаться, кольцом свернулась вокруг ламповой ручки, да так и растаяла. И по сей день остался небольшой след – тень от этого протуберанца, овраг, который змейкой скользит через жилые кварталы. Во многих местах он уже почти истёрся, кое-где даже покрылся коркой асфальта. Флегматичные местные жители предпочитают его не замечать: если пройти вдоль оврага километр или около того, увидишь дом семейства Заславских, а может, и саму хозяйку дома, хлопчущую на крыльце. Ни за что его не пропустишь: крыша его едва возвышается над краем оврага, а сама коричневая коробка, как кусочек сахара, отколотый от сахарной головы, плотно сидит в его глотке. Мальчишка Заславских по имени Йоханнес (мы редко с ним общаемся: пацан на два года меня младше) говорит, что его предки, которые возвели это чудо, считали, что нет лучшего пути к здоровью, чем каждый день одолевать семнадцать крутых ступенек, и всем их потомкам приходится принять это правило за что-то, не требующее доказательств. Ведь для финна (финна не из Хельсинки; это – словно отдельная вселенная) гораздо проще убедить себя в незначительности этих неудобств, чем переехать оттуда, где стирала бельё на крыльце его бабушка. Том говорил: однажды будет землетрясение, и земляные челюсти сомкнутся,

перемолов дом и его обитателей в труху.

Моста тогда тоже не станет. Но пока он есть, я могу с полной уверенностью сказать – это единственный мост на весь Киттила, и по этой причине самый верный ориентир в городе. Всего один пролёт, но больше и не надо. Может, смысл единственности этого моста в том, что он сложен из множества одинаковых замшелых валунов, зелёных и кое-где ободранных приступами ночного ветра... если, конечно, не ветер обдирает бока об эти упрямые валуны?

Мост широкий, достаточно, чтобы по нему могла проехать заплутавшая машина, но недостаточно, чтобы разминуться двум транспортным средствам. По обеим сторонам низкие каменные бортики. Давным-давно, когда овраг наполняла вода, на них, должно быть, сидели рыбаки, свесив к воде ноги, и их соломенные шляпы были видны издалека.

Топот ног гармонировал со стуком сердца. Мне мерещилось, что то бегу не я, а идёт хорошим аллюром жеребец из конюшни. Ах, показать неприятностям крупные зубы и умчаться в закат – что могло бы быть приятнее?

Я в кедах, шортах и белой майке-борцовке, а на улице, как уже говорилось – конец тёплого мая. Нет, Том не мог умереть в такое время. Он вообще не мог умереть. Когда тебе едва перевалило за тринадцать, люди ещё не умирают... Вот и Александра. За десяток шагов до моста я перешёл на шаг, задыхаясь и стараясь сдержать кашель.

Это высокая девочка с острыми плечами, острыми же коленками и едва наметившейся грудью; она вся, как тонкая весенняя веточка с множеством почек. Ростом вполне могла соревноваться с Томасом (правда, в отличие от него, никогда не горбилась), а значит, почти на полголовы выше меня. Длинные прямые волосы спадают по обеим сторонам широкого лба. Этот лоб как белая пластилиновая масса, и, когда я вижу Сашку, первое желание – возникает оно против моей воли – оставить посреди этого лба круглую отметину как раз по форме моего пальца. Как будто догадываясь об этих нездоровых мыслях, Саша начала носить кепку, нахлобучивая её очень глубоко и разворачивая козырьком назад.

Потерянный её вид мешал гнуться моим коленям и заставил ладони вспотеть – я надеялся, что буду подходить к мосту вечно. Но ещё несколько секунд, и под ногами захрустела рыжая каменная пыль.

Саша тихо взяла меня за руку. Сказала:

– Пойдём вниз.

Она одета в шорты и сандалеты, рубашка застёгнута на все пуговицы. Шея торчала из неё как спичка из закрытого спичечного коробка. На коленях синяки и ссадины; я видел и те, к которым был сам причастен – когда учил её кататься на скейте. Остальные исправно доносили, что их владелица вела двойную и даже тройную жизнь. Эти маленькие отметины появлялись с первой масштабной оттепелью и не сходили до поздней осени. Высокие тощие люди всегда немно-

го неуклюжи... особенно если у них в голове, как у Сашки, тёмные аллеи, по которым бродят загадочные существа, отвлекая от того, что происходит за выпуклыми стёклами глаз.

Цепляясь за корни, мы слезли в овраг. После дождя здесь всегда чавкает (в глубоких впадинах скапливается вода), но сейчас сухо. Пахнет сыростью и картофельными очистками. В тених под каменной аркой мог бы спрятаться целый полк партизан, и мы, представляя себя в фантазиях этими самыми партизанами, ориентировались в прохладной тёмной норе не хуже, чем в светлой комнате.

Сашка забралась на старую автомобильную крышку. Если провести рукой по внутренней стороне, можно нащупать рельефные буквы, название и год выпуска – 1977. Куда древнее нас, и мы относились к ней с огромным уважением, доверяли хранить в себе початые бутылки лимонада... где-то там, в её недрах, до сих пор лежит бутылка пива. Ждёт подходящего повода и, надо думать, нашей храбрости. Теперь, с уходом одного из троих, совокупной смелости нашей поубавится.

Девочка уронила в ладони лицо, а я стоял перед ней, как воробей перед кошкой. Я не слышал, плакала она или просто востригла, как когти, свои ужасные вести. И, почти сошедший с ума от этой неизвестности, предпочёл не дожидаться своей судьбы. Тихо спросил:

– Что... случилось?

Долгое время она не отвечала. Над головой, гремя пе-

реккрытиями, проехала машина; прошли, весело и громко переговариваясь, какие-то люди. Наверное, на пикник. По другую сторону моста, между водоёмом и дорогой, имеется небольшая роща, «Котий загривок», действительно похожая своими острыми елями на вставший колом загривок кота.

– Самоубийство, – наконец сказала она.

Я сел, где стоял. И не нашёл ничего лучше, чем спросить:

– Почём ты знаешь?

Том бы никогда не совершил такого ужасного поступка. У него... как бы это сказать... понимаете, хомяк в клетке скорее бы свёл с собой счёты, или рыба в аквариуме, чем мой друг. Я слышал по телевизору о чувствительных молодых людях, которые кончают с собой из-за несчастной любви, но это не случай Томаса. У него не было несчастной любви. Да, он писал стихи, но вы бы слышали эти стихи!

«Пусть за каждый день,
В который я буду любить,
У меня выпадает по зубу»

Вот, например, то, что он писал, когда отрастали клыки. В минуты, когда на личном небе Томаса сияло солнце и клыки вытягивались в дёсны, он писал, как хорошо прыгать с мостков в воду, плескаться и ловить голыми руками под водой окуней – они такие скользкие! В некотором роде, думаю, стихи его можно назвать собачьими.

– Ты что, книжек начитался? – я буквально кожей почувствовал холодный, как лезвия ножниц, взгляд. – А? Детективных? Тома больше нет. Томаса больше нет с нами – вот всё, что нужно понять.

Я не стал извиняться. Не поднимаясь с земли, я пропустил руки через дыры карманов и спросил напрямик:

– Как это случилось?

Я страшный трус. Не знаю, хватило бы у меня духу спасти из горящего дома человека (или хотя бы кошку), но необходимость сказать что-то искреннее в разговоре с людьми скручивает в жгут, точно мокрое бельё в руках дородной финки. Карманы – что-то вроде индивидуальных бронежилетов. Там твои потные красные ладони никто не увидит, и можно, хоть и с натугой, с дрожью в коленях, но говорить с плачущими людьми. А Сашка сейчас явно плакала. Глаза её и оставались сухими, а рот почти не дрожал, но есть, видно, внутри у меня некий детектор слёз и горя, который сейчас истерично пищит. Слезами можно истечь изнутри, что неминуемо приведёт к острой рези в животе. Слёзы – они как кислота, а вся не вышедшая наружу кислота будет разъедать тебя изнутри. Я тоже захлёбывался от слёз, но вместо того, чтобы это признать, держал руки в карманах и выпрашивал подробности смерти лучшего друга. Я, наверное, вырасту в зачерстневшее чудовище.

– Тот мужчина... – она всхлипнула.

– Какой мужчина?

– Который приходил к родителям Тома. Он, должно быть, из полиции. Или криминальный врач. Его привёз господин Аалто. Он сказал, что Том облил себя керосином и зажёл спичку. А потом сел и сидел, пока не сгорел дотла.

Вместо всхлипов её сотрясала только сухая икота. Вся влага копилась где-то внутри, ожидая момента, когда можно будет кипящей лавой извергнуться наружу. Я хмурился.

– Так не бывает, Сашка. Знаешь, какая боль, когда ты горюшь? Я один раз пытался на спор подержать палец над горящей спичкой... Сначала должна сгореть кожа, потом мышцы, потом, наверное, закипает кровь и лопаются вены... и всё это время ты чувствуешь боль, как будто тебя режут тысячи ножей сразу... а!

В сидячем положении трудно увернуться от летящего в тебя комка земли, который ввиду засухи превратился во что-то почти такое же твёрдое, как камень. Я дождался, пока не погаснут пляшущие перед глазами звёзды, после чего осторожно ощупал нос. Вроде, цел. На языке остался горький привкус: в тот момент, когда «астероид» столкнулся с моей головой, я неосмотрительно открыл рот.

– Томми сгорел заживо, – сказал я голосом человека, который проснулся вдруг посреди ночи и едва способен отличить истаивающий сон от реальности.

– Да, Антон.

– Где это случилось?

– В Земляной дыре.

– В дыре!..

Я задохнулся. Земляная дыра была нашим тайным местом – особенным по сравнению со многими закутками и местечками вроде этого *подмостья*. Земляная дыра была настоящим тайником, чем-то вроде сейфа за картиной, код к которому мы – вся наша ребячья компания – знали, но всегда предполагали двойное дно или съёмную заднюю стенку. Поэтому что кто, когда и зачем вырыл и обустроил Земляную дыру, оставалось загадкой.

Я сказал с превеликой осторожностью:

– Почему было решено, что это самоубийство?

– Он оставил записку. В стихах.

Сомнений быть не могло. Всё, как по сценарию. Может, кто-то и мог бы написать за него предсмертную записку, но записку в стихах, в стиле неистовых хокку, которые, как кожурки от семечек, выдавал на-гора Томас, подделать невозможно. Пора выкинуть из головы всю эту детективную чушь. Томаса больше нет, и никто кроме него самого в этом не виноват.

– Что мы теперь будем делать? – спросила Саша.

Риторичность этого вопроса я разглядел уже после того, как на него ответил.

– Жить, как всегда... когда он был Одиноким стрелком. Как будто бы он стал Одиноким стрелком навсегда.

На самом деле у меня не было ответа. Эта, особенная, навсегда запомнившаяся мне суббота, положила начало пер-

вым глобальным переменам в моей лёгкой, как воздушный змей, жизни, и это вселяло в меня лютей ужас. Конечно, несравнимый с тем, что, наверное, испытывал мой лучший друг – вряд ли кто-то с этим будет спорить. Но вряд ли кто-то поспорит и с лозунгом трусов и одиночек: «Своя рубашка ближе к телу».

Сашка молчала. К шуткам она относилась примерно как к пегасам и единорогам, которых выпускает в синее небо развязность детских языков, но то, что случилось с нашим другом – самая настоящая правда. В правде она разбиралась лучше всех и сильнее всех понимала её гнетущую неизбежность.

Глава 2. Разные Люди и Разные Города – Похожее Зрелище

Когда мы вылезли из-под моста, уже стемнело. Александра попрощалась, как умела только она, холодным кивком, трогая себя за плечи, и исчезла. Я пошёл в сторону дома, вручную прокручивая в голове киноплёнку мыслей.

Как я узнал от Сашки, Томас ушёл из дома в одиннадцать утра (в то время я был на конюшне; как раз, когда сумел разжечь в скакуне по кличке «Придон» искорку энтузиазма и под одобрительные возгласы тренера, женщины по имени Ханна, пустил его галопом). Он сказал родителям, что они с Антонкой (то есть со мной) собираются отправиться в Котий загрибок строить дом-на-дереве, натаскать туда книжек и от-

крыть библиотеку для Тех Кто Читает В Чаше При Свете Керосиновой Лампы. Это была давняя наша задумка – «идея на двоих». Дом-на-дереве оставался пределом мечтаний и планом на каждое лето целых поколений мальчишек с восьми и, приблизительно, до четырнадцати лет; даже компьютеризация детских умов не влияла на его положение: дом-на-дереве по-прежнему оставался во всех смыслах на высоте. Что до библиотеки – это была одна из странных идей Томаса, которая мне всецело пришлась по душе. Читать любили мы оба.

– Читать старую книгу в лесной чаше, сидя на дереве – что может быть прекраснее? – спрашивал он, и я просто не мог не согласиться.

Сначала Томаса видели в местной хозяйственной лавке «Всё и Всячина». Там он купил канистру керосина и долго, пытая себе под нос, привязывал её к багажнику велосипеда. «Он сказал, что это для бензопилы, – поведал побледневший торговец, старик Культя, как мы его за глаза (и втайне от взрослых) называли. У него не было правой руки, зато был замечательный пёс, который был приучен приносить с нижних полок склада товар. Пёс был глухой, и старик показывал ему аналогичный товар на витрине. Правда, на радостях он мог принести заказанное в неуёмных количествах. Бывало, зазеваешься – а перед тобой уже гора бумажных полотенец. – Сказал, отец отправил его за топливом для бензопилы. О Боже! Но я же не знал...»

Никто и не думал винить старого Йоргена. Керосин, ко-

нечно, не положено продавать детям, но Томас был уже подростком, а все подростки помогают отцам.

После того как Томас уехал, его вроде бы видели на дороге к Котьему загравку, естественно, одного. Без меня. А потом – не видели больше уже никогда. С Котьего загравка мы старались вернуться засветло, и на закате, как это периодически бывало, когда мы заигрывались и задерживались дольше положенного, отец Тома поехал на машине по единственной дороге навстречу. Он никого не встретил, и только когда между деревьев проглянула устроившаяся на ночлег вода, увидел велосипед сына и почувал мерзкий запах обугленной плоти...

Наверное, дым валил из-под земли, как из жерла вулкана. Домой я пошёл не скоро, отправившись бродить по окрестностям. Сотовый телефон надрывался, но я не стал брать трубку, а просто написал маме, что со мной всё в порядке. Видимо, до них ещё не дошла страшная весть, потому как мелодию из Чёрного Плаща, что стояла на звонке, сегодня я больше не слышал.

Наш город больше напоминает большую деревню. Двухэтажные коттеджи, иные достаточно старые, будто каменные глыбы, останки какого-то средневекового замка, встречались там и сям. Были здесь и светлые современные домики, похожие на комки сахара, с верандами, с обилием стекла, с запахом свежей древесины или утреннего кофе. Между ними всё утопало в зелени, лужайки такие ровные, что

даже отпечатки тяжёлых садовничьих ботинок там не задерживаются. Заборов нет. Родина мне отчего-то запомнилась обилием оград и оградок, но финнам, похоже, достаточно и того, что они запирают на замок своё сердце, и выдают ключи от него только заслужившим расположения людям. Кто-то позволяет своему саду зарастать, и только строит между пышных кустов извилистые каменные дорожки, отмечая их крошечными фонариками. Иногда даже умудряется всунуть под какую-нибудь иву беседку. Кто-то росистым утром прожигается вдоль подъездной дорожки с газонокосилкой – от него клином, как от плывущей утки, расходится ощущение простора и ничем не сдерживаемого дыхания.

Местные жители предпочитают старые, отжившие своё автомобили. На ходу они поскрипывают подвеской, точно огромные жуки, что трутся друг об друга хитиновыми панцирями, а сигналы похожи на сигналы океанских лайнеров. У каждого автовладельца есть гараж, где горкой сложены покрышки, где пахнет машинным маслом, горячим теплом, и можно через неприметную дверь выйти напрямиком на кухню, чтобы забрать со стола бутерброды. Но обычно люди здесь передвигаются на велосипедах. Велика ли важность – выгнать из гаража лупоглазого ворчливого старика, чтобы съездить за две мили на работу? Также и у каждого уважающего себя мальчишки есть велосипед, а если сложить вместе их скорости, получится число, превышающее население доброго мегаполиса.

У нас с Томом были странные отношения. Сегодня мы приходились друг другу лучшими друзьями, как сказали бы у меня на родине, «не разлей вода», завтра – уже нет. А послезавтра – опять неразлучны. Здесь, в Суоми, я слышал однажды выражение: «Разные калачи, да из одной печи», – и это тоже про нас. Не в смысле, что он тоже был из русской печки, а в смысле, что если бы мы были киборгами, электронные мозги бы нам заправлял в голову один и тот же мозгоправ.

Такие, как мы, люди, бывают похожи не внешне, не характером и даже не поведением, а какой-то расположенностью к миру, точкой зрения или же одинаковым поворотом головы. Мы не задумываясь выбирали в аквапарке один и тот же лежак, и тот, кто первый его занимал, имел полное право всласть поиздеваться над товарищем.

При всём при этом интересы у нас были очень разные. Я любил кататься на всём, что катится и хоть как-то двигается, он любил быть на одном месте, точно... точно дерево.

Том высокий, прямой, как жердина, слегка сутулый. С вечно нечёсаными вихрами и добрым лицом. Когда он был в хорошем расположении духа, то немного походил на вставшую на задние лапы собаку. Абсолютно так же ухмылялся всем встречным, знакомым и незнакомым, разве что не вываливал язык. Когда хотелось показать, что я на него рассержен или раздосадован, я кричал что-то вроде: "Я тебе хвост

оторву!", и все, кто при этом присутствовали, сами становились улыбающимися лайками, так что аллегория с собакой приходила в голову не мне одному. В другие дни он только и делал, что язвил, протирал свои очки платком и стремился к покою. На любую попытку кантовать угрюмую версию этого сукиного сына, мой приятель отвечал очередной остротой, если бы я их куда-то записывал, я бы, наверно, смог бы уже издать сборник.

Но я не мазохист, поэтому в этот период я предпочитал с Томом не общаться. И, по возможности, не злиться на него. Он был, по собственному выражению, «одиноким стрелком», и любил говорить:

«Одинокому стрелку никто не нужен. Одинокий стрелок сидит у костра и курит».

Как дерево, Том возвышался над током жизни. Деревце из него так себе, ещё молодое, с неокрепшим стволом и верхушкой, до которой любой малыш может добраться за пятнадцать секунд, но это не мешало ему покровительственно простирать свои ветви над нашей мышшиной вознёй.

Тому было тринадцать, почти как мне, но при всём при этом я мог обращаться к нему за советом как к старшему брату. Оттуда, с верхушки, видней. Это если я готов был признаться своему бунтующему эго, что мне нужны советы. Но, как ни странно, рядом с Томасом любые попытки бунта этого самого эго проваливались.

Мама называла его «тот странный мальчик», а я мог с чи-

стой совестью назвать его другом, единственным среди своих приятелей.

Томас писал стихи. Лично он никому их не показывал, потому как считал, что мы всё равно ничего не поймём, но мы их читали – они публиковались в нашей школьной газете. Томаса хватало аж на два псевдонима: Добрый романтик и Одинокий стрелок, он ни разу не признавался в причастности к тому или иному, но кто на самом деле эти признанные гении, кажется, знал весь город.

В заваривающихся сумерках я покачался на чьих-то качелях, пока не заметил, что их хозяйка, русоволосая голубоглазая девочка, наблюдает за мной из окна. После чего слез и пошёл прочь, свернув со 2-й линии на улицу Хенрика Крусселя и пропустив лабрадора, деловито бредущего куда-то в ошейнике, но без хозяина.

Что могло заставить Томаса так поступить? Я терялся в догадках. При мне он никогда даже не заговаривал о самоубийстве. Хотя всё, что он делал, казалось просчитанным и взвешенным, мне сложно представить, чтоб он так же хладнокровно просчитал и свой уход из жизни. Можно сказать, он помечал свой путь, как Гензель и Гретель: ронял крошки-стихи, и те, кто их подбирали, очень быстро понимали, что созданы они для внутреннего пользования. Что полностью понятны только человеку, который их оставил.

«Мне нужно увидеть этот его предсмертный стих», – решил я. Я слышал, что самураи перед ритуалом сэппуку – то

есть ритуалом лишения себя жизни – писали короткие стихи, выражая своё отношение... ну, или не отношение. В общем, выражая что-то важное для себя. Что-то вроде «Всё прекрасно как сон; Сон придёт и уйдёт. Наша жизнь – сон во сне». Пиная потерянную кем-то луковицу, я надеялся, что в предсмертной записке Томаса будет немного больше конкретики.

Глава 3. Твой Пепел Достоин Великой Тишины

Утром я проснулся с совершенно разбитой головой. Она была кувшином, амфорой, поднятой с океанского дна, полной солёной воды и покрытой зелёными трещинами. Лёжа на спине, я добрых полминуты вспоминал, что случилось накануне.

– Решил наконец почувствовать всю прелесть воскресенья? – благожелательно спросила мама.

Она куталась в белый махровый халат. То, что она уже встала, кое-что да значило: обычно я вскакивал ни свет ни заря. Когда я был помладше, то был настоящим бедствием для всей семьи.

– Та ещё прелесть... – пробормотал я и пошлёпал босыми ногами в ванную.

Мама умудрялась вставать в половине одиннадцатого почти каждый день. Она напоминала умудрённую годами домашнюю кошку, уверенную, что прежде любых дел должен быть хороший крепкий сон без всяких будильников, а по-

том долгие процедуры по приведению себя в порядок, после которых ванная представляла собой нечто, похожее на поле битвы двух маленьких капитанов игрушечных флотилий.

Вода не освежала. Зубная паста на вкус была как мел. Поплевавшись в зеркало, я тщательно его за собой вытер и спустился к завтраку.

Семейные завтраки у нас получались только в выходные. Несмотря на то, что семейные ужины были каждый день, завтрак выходного дня был каким-то особенным ритуалом, когда всей семье удавалось собраться вместе. В обычные дни мы с отцом, перехватив что-то на кухне, разбегались по школам и работам, мама же вставала гораздо позже. Мы кричали ей снизу: «Мы ушли!», а она отвечала тем, что, когда мы с отцом выходили к подъездной дорожке, откуда было видно окно её спальни, подавала нам прощальный сигнал, включая и выключая свет.

В гостиной уже восседал папа. Здесь был овальный стол, за которым умещалось семь человек, стулья с высокими спинками, светлая мебель и картины, заключающие в рамки цвета ванильного мороженого какое-то абстрактное лёгкое содержание – их выбирала мама. Пахло тёплым молоком и омлетом. Тарелки сияли, словно раскалённые добела метеоры, мчащиеся в тёмно-фиолетовом космосе скатерти.

Отец работал юристом в местном консульстве и ездил каждый день на машине до Соданкюля. Сейчас он выглядел так, будто завтрак прервал его в середине сборов на ра-

боту: на нём была бежевая рубашка с расстёгнутой верхней пуговицей. На коленях – салфетка. Не хватало только галстука, и галстук был единственным предметом одежды, который он действительно добавлял к своему костюму, когда шёл на работу. Ну, ещё туфли. Папа терпеть не мог "домашнее" и всякие халаты, словом, такое, в чём, по его словам, "нельзя показаться на люди". Он расхаживал по дому в рубашке и брюках, и, в качестве уступки маминым укоризненным взглядам, в огромных махровых тапочках. Это полный человек с пухлыми ляжками, мощными руками и округлым лицом. Стригся он коротко, выбривая виски, носил очки в дорогой чёрной оправе, на пухлых губах всегда готова была появиться улыбка. Весь такой белый и чистый, что напоминал яйцо. Мама, по её словам, всегда боялась, что я вырасту в отца и буду похож на подушечку для булавок, но поджаростью форм я пошёл в неё.

– Доброе утро, – сказал папа, когда я отодвигал стул напротив. – Здоровый сон по выходным – залог здоровья и душевного благополучия.

Неожиданно для себя я открыл рот и оттуда вылетело:

– Пап, а когда кто-то умирает... ну, кто-то, кого ты достаточно хорошо знал... что дальше?

Не знаю, почему я до сих пор не рассказал предкам о гибели Тома. Наверное, она представлялась мне настолько нелепой, настолько выбивающейся из реалий мира, в котором я привык жить, что рассказать о ней – всё равно, что пове-

сидеть на плечики одёжку, которая тебе не нравится, тем самым признав её право на существование в своём шкафу. Ранно или поздно родители узнают всё от соседей. Мама и папа не самые общительные на этой улице люди, но новости, кажется, распространялись бы по городку со скоростью света, даже если б его населяли слепоглухонемые.

– «Что дальше?» – переспросил отец, откладывая вилку.

Да, более нелепого вопроса я придумать не мог. Правда, оправдание всё-таки есть: я здесь ни при чём. Эта фраза выскочила сама по себе, как чёртик из коробочки с секретом. Что дальше? Как будто локомотив жизни можно как-то остановить... даже если на последней станции сошёл один человек, а ты не успел ему даже махнуть рукой.

– Если умирает кто-то тебе близкий...

– Тебя интересуют религиозная сторона? Юридическая? Так-с... с юридической стороны этот человек, если он, конечно, – папа загибал пальцы, – не твой родственник, совершеннолетний и владеет каким-либо имуществом, никак с тобой не соотносится. В противном случае он должен указать тебя в завещании...

Папа предпочитал наступать по всем фронтам одновременно – издержки профессии или издержки характера, доподлинно я не знаю. Вне зависимости от нелепости вопроса, от полков, которых против него выдвинули, будь то отряд французских SAS или, скажем, полк поваров-клоунов с бутафорскими носами и половниками, солдат у него всегда

хватало, и посылал он их в бой разом, сразу во все стороны.

– Нет, пап, – сказал я, уложив подбородок на квадратик салфетки, – Никаких завещаний, только предсмертная записка, в которой про меня ничего не написано. Какая-то другая сторона.

Папа прекратил играть с краешком скатерти и в упор посмотрел на меня.

– То есть у тебя и правда умер кто-то из друзей?

Я молча кивнул.

– Давай посмотрим, – когда от него это требовалось, отец мог быть предельно серьёзным. В смысле, ты мог упрашивать его быть серьёзным хоть целый день, а он в ответ будет метать в тебя бумажные самолётики, но когда речь заходила о вещах, с которыми, по его мнению, шутить не стоит, из него как будто выходил весь воздух. Тогда отец становился похож на сухофрукт, вроде кураги. – Прежде всего, мне очень жаль, что ты в таком возрасте кого-то потерял. Это плохо. Лучше бы ты потерял кого-то чуть пораньше, скажем, лет в восемь или девять.

Он строго посмотрел на меня поверх очков, и я, собиравшийся уже что-то вставить, изумлённо захлопнул рот.

– Я говорю «лучше бы», потому что со смертью лучше столкнуться гораздо раньше. Сейчас очень спокойное время. Очень спокойное. Юноши твоёго возраста, Антон, те, что жили во времена треволнений, уже могли бы назвать себя мужчинами – по сравнению с ними даже я казался бы

сопливым юнцом. Например, обе мировые войны, когда танки интервентов сжигали мальчишки твоего возраста, и они же гибли под гусеницами. А представь, каково приходилось сыну, скажем, фермера в эпоху Генриха третьего? Только вообрази: Англия, отца забрали в ополчение, старший брат ушёл в партизаны... всходы ржи вытаптывают солдаты, они же требуют от тебя, как от верноподданного короля, еды, да ещё засматриваются на твоих сестёр...

Я хмыкнул. Что и говорить, в истории мой отец ориентировался только по историческим романам, и принимать его слова на веру в этом направлении было бы опрометчиво.

– Кнопка...

– О, точно. Кнопка.

– Она умерла, когда мне было семь, и я, кажется, даже рыдал.

Кнопка была нашей кошкой, и она, как опустевший тубик из-под зубной пасты, израсходовала все свои жизни под давлением пальцев времени. Умерла от старости, то есть. Это был последний раз, когда я плакал по-настоящему, искренне захлёбываясь слезами. После этого были разве что злые слёзы, когда меня первый раз побили, но и всё.

– Видишь ли, в то время ты, конечно, полностью осознавал, что Кнопа – живое существо. Возможно даже сравнивал её с собой. Но сейчас ты понимаешь, что смерть животного и смерть человека – разного порядка вещи. Иначе бы не обратился ко мне.

Я счёл возможным возразить. Не то, чтобы это было необходимо, но возразить мне хотелось:

– Тётя Элен, что живёт через квартал в доме с зелёной крышей и двумя трубами, считает, что её собаки как люди. Она сама мне сказала. И собакам она даёт человеческие клички. Она думает, что один из псов её умерший муж. Но и он не так давно умер, так что она теперь не знает, что думать. Такая потерянная.

Папа провёл по лбу бумажной салфеткой.

– Сынок, мы сейчас говорим не о собаках и кошках. Кто умер?

– Томас.

– Тот...

– Тот странный мальчик.

– Наверное, зря я спросил. Смерть – это ужасная вещь. Необратимая. Но самое главное, что тебе сейчас нужно сделать – победить её последствия. Понять, что они обратимы, даже если *она* – нет. Понимаешь? Ни в коем случае не оставляй смерть своих друзей на плечах других людей. Ты обязан разделить с ними всё бремя, которое она возлагает. Понимаю, это трудно, но ты по-прежнему остаёшься в мире живых, в мире, из которого постоянно кто-то уходит, и такая поддержка однажды потребуется и тебе.

Папа поставил точку долгим взглядом поверх очков, как делал, когда хотел донести до собеседника всю важность сказанных только что слов. Уверен, на работе этот приём пре-

красно работал: тогда его лицо, лицо благодушного толстяка, становилось лицом человека, к которому лучше прислушаться.

Мама где-то пряталась. Без сомнения, она слышала наш разговор. Она целыми днями упрасивает отца хоть немного отнестись к чему-то серьёзно, но когда папа переводит этот свой потайной переключатель, сама внезапно исчезает. Настоящая гуру подушек и простыней, она не любит всё, что может помешать крепкому и здоровому сну, а так же весьма пренебрежительно отзывается о практиках осознанного сновидения, о жёстком режиме дня, о подъёмах в шесть утра и прочих, по её словам, «извращениях».

– Держу пари, кто-то из тех, кто всем этим увлекается, и придумал ядерную бомбу и почтовые ящики на улице, – говорила она.

Когда папа напомнил ей о суровых буднях почтальонов, мама искренне возмутилась:

– Неужели это так трудно – слезть со своего велосипеда, постучать в дверь и вручить письмо лично? Я готова угощать куском пирога и морсом каждого, кто готов пересилить себя и вскарабкаться на наши три ступеньки.

Надо думать, хорошо, что она не афишировала это своё предложение, потому как звяканье колокольчика почтальона я слышу утром, между семью и восьмью, и маме приходилось бы тогда выбираться из постели на целых три часа раньше.

Против моего режима дня мама, однако, никогда не вы-

сказывалась. Я был ранней пташкой по натуре, поднимаясь в семь свежим и выспавшимся. Наверное, смирилась ещё десять лет назад, когда следом за восходом солнца в моей кровати затевалась возня, и с тех пор отсыпается за все годы, когда я выдёргивал её из постели раньше времени.

Помаявшись с два часа и так и не решив чем заняться, я написал Саше. Погрузил – снова – всю свою решимость в кузов, открыл окно в прохладный полдень: когда я волнуюсь, где-то в районе горла начинает перехватывать дыхание. Сегодня облачно, кажется, вот-вот начнёт накрапывать дождь. Наблюдая в окно, как катаются по небу валики туч, я повторил вчерашнее сообщение – знак вопроса, ставший чем-то вроде пароля. Не знаю, что он значил для Сашки, для меня он означал примерно то, что сказал недавно папа: «Ты обязан разделить бремя...»

Подождав с пятнадцать минут ответа, я позвонил и, когда она взяла трубку, спросил:

– Как ты?

– Не могу перестать думать, – ответила Сашка.

– Я тоже, – признался я.

С Томасом она была знакома куда ближе. В каком-то роде он оставался для меня загадкой, ребусом, разгадать который, не помешала бы дополнительная ложка мозгов. Эти двое вместе росли, вместе выросли, всю жизнь дверь-вдверь. Так что вопросом, который не давал мне покоя, Сашка должна была задаваться куда как глубже.

– Кремация сегодня, – сказала она. Сверилась, должно быть, с часами на стене, и закончила: – Как раз сейчас. В Соданкюля есть крематорий, Томаса... тело увезли туда.

– Какой крематорий?

Я отчего-то так перепугался, что едва не выронил телефон. Слово это казалось потусторонним, будто не принадлежащим этому миру.

– Тело сильно обгорело, – сказала Сашка. – Почти сто процентов кожи. Кремация здесь – наилучший вариант. Пусть огню достаётся всё, до последней косточки.

Я в очередной раз задался вопросом, как она это переносит. Судя по голосу, Сашка была в порядке. Она редко улыбалась, никогда не шутила, и я внезапно подумал, минус пять на улице или минус двадцать пять, по внешнему виду снега, на глаз, ты вряд ли поймёшь. Снег не может стать более белым.

Я сказал, быстро, не давая себе опомниться:

– Ты дома? Я могу заглянуть, прямо сейчас... если твои родители не против.

В трубке установилось молчание, ровно на пять секунд, словно давая время мне передумать и отказаться от своего опрометчивого желания. Потом Сашка сказала:

– Приходи, если хочешь. Мне всё равно. Можем посмотреть на окошко Томаса и представить, что он всё ещё там...

Может, и впрямь всё равно. Насколько я помнил, в школе Сашка мало с кем общалась. В кружке девчачьих сплетен

она чувствовала себя лишней, мальчишки не брали её в свои шумные игры, а когда вплотную подошёл переходный возраст и седьмой класс, начали вострить в её сторону свои молодые языки. Но только, когда рядом не было Томаса. Томас мог отсечь любые поползновения в сторону своей подопечной одним движением брови. Он никогда ни с кем не дрался, но при накаливании обстановки неизменно остужал её, превращаясь в само ледяное спокойствие. Когда он так делал, я всегда вспоминал джедаев с их «Это не те дройды, которых вы ищите».

– Похороны в четверг, – сказала Сашка, когда я свернул на ведущую к её крыльцу дорожку и юркнул от морозящего дождя под навес веранды.

Отсюда действительно виден дом Тома. Это деревянное строение всегда казалось мне жутко несуразным. Собранное из просмолённых и потемневших от времени досок, оно стояло на брёвнах-сваях, что под весом поддерживаемого медленно уходило под землю, рассыхались и стачивались, как карандаши. Говорили, что этот дом очень старый: когда-то все строения в окрестностях ставили на сваи, так как озеро и протекающая по оврагу речушка имели свойство весной выходить из берегов. Но это казалось мне сомнительным: овраг был просто заросшей кустарником трещиной на теле земли без малого сто пятьдесят лет. Так, во всяком случае, считали старожилы. Вряд ли деревянный жилой дом способен простоять два века; господин Гуннарссон, отец Томаса, говорил

то о девяноста годах, то о ста сорока – у меня сложилось впечатление, что он сам точно не знает, когда был построен его дом.

Выглядел он как старая, осыпающаяся спичечная головка. Казалось будто само Время полюбило присаживаться на скат крыши (неприменно правый), отчего дом и просел на правую сторону чуть больше, и просесть ещё сильнее ему мешали подпорки из кирпичей. С коньков крыши свешивался пронзительно-зелёный мох, на чердаке, открытым ветрам с северо-запада, каждое лето вили гнёзда журавли. Томас говорил, там можно найти четыре покинутых осиных гнезда, и одно даже спустил мне показать. Выглядело оно действительно круто. Под домом, между сваями и подпорками, скопилась целая коллекция всякого хлама. Там были грабли и лопаты, доски и старые стулья, проржавевшие насквозь цепи и мешки с удобрениями.

Родители Томаса не протестовали против дома на дереве, потому что их собственный дом мало чем от него отличался. Мои протестовали, но достаточно вяло, и я благоразумно не торопился рассказывать им все мальчишеские секреты.

Наверное, следовало зайти и выразить родителям Томаса соболезнования, но я не мог собраться с силами, чтобы это сделать. Я боялся спросить, заходила ли к ним Саша, вместо этого задав другой вопрос:

– У тебя кто-нибудь когда-нибудь умирал?

– Бабушка. Два года назад. Похороны – это самое ужасное,

что есть на земле. Этот обряд... он отвратителен.

На Сашкиной веранде была будка без собаки (их пёс умер несколько лет назад, а нового они так и не завели), в ней – склад инструментов, которые все вместе звякают, когда будку задеваешь ногой или пытаешься на неё присесть. В гостиной первого этажа горела лампа: она моргала, когда кто-то из Сашкиной родни проходил мимо.

Девочка в джинсах, водолазке и куртке, которую накинула на плечи, не вдевая в рукава руки.

– Мои бабушка и дед со стороны отца давно умерли, – сказал я. – Ещё до моего рождения. Я видел только фотографии.

– Говорю тебе, похороны – это ужасно, – Сашка бездумно смотрела на мокнувший сад, на качающиеся под массой влаги листья гибискуса. – Я не хочу туда идти. Ни туда, ни на поминки.

Заткнув пальцы за пояс, я прошёлся к краю веранды, сплюнул на куст розовых цветов. Не знаю насчёт родителей Саши, но мои родители с родителями Томаса были не знакомы, так что на поминках им делать нечего. Хотя, Том иногда забегал ко мне в гости, но мои предки – не такие люди, чтобы ходить на поминки к малознакомым людям. Они терпеть не могут грусть. Доходит до смешного: бывает, когда день ниспадает в вялый, апатичный вечер с точками светодиодных фонариков во дворе, папа включает Led Zeppelin и гоняет по гостиной кошку, преследуя её моей машинкой на радиоуправлении. Из машинки я давно уже вырос: она старая и

не поворачивает налево, но папа из неё не вырастет никогда. Это его способ убивать грусть, даже когда её, собственно, и нет, а есть благоприятная для её возникновения обстановка. Но ведь вишнёвое дерево не означает спелые вкусные вишни: на дворе может быть зима. Папка говорит, что и уехали-то мы из России только потому, что у мамы в дождливые дни начиналась депрессия.

Нам же присутствовать придётся. Мы уже не дети, которые всюду с родителями или с опекунами, кто-то выкрутил наружу нам рукоятки самостоятельности и поздно крутить их в обратную сторону. Вместе с самостоятельностью у нас появились *обязанности*. Я думал, как бы донести это до Александры, когда она сказала:

– Давай проберёмся ночью к ним в дом и спокойно попросимся. Оставим записку, что зашли чуть-чуть пораньше, так как не хотим присутствовать на официальной части, и...

Она была, как обычно, абсолютно серьёзна.

На мой взгляд, Сашка куда лучше любого другого подростка подходила к обстановке похорон. Только и работы, что облачить её во всё чёрное. Выражение этого лица подойдёт к любому официальному мероприятию.

– Ты хорошо подумала?

Я хотел сказать «находиться в одной комнате с мертвецом, почти совсем одной – не лучшая идея», но сумел сдержать язык за зубами.

Губы девушки представляли собой одну тонкую линию.

– Так и собираюсь поступить. Ты со мной?

Я кивнул. Не знаю точно почему, но я готов был пойти на такую авантюру. Томасу она бы понравилась.

– Я хочу на днях взять велосипед и доехать до земляной дыры, – прибавил я.

– Зачем? – неожиданно насторожилась Саша.

– Точно не знаю. Посмотреть...

Никто из нас и никогда не ходил туда в одиночку. Во-первых, потому, что она находилась в самой чаще Котьего за-гривка, там, где сквозь спутанные ветки проглядывала большая вода и было слышно, как дикие утки осуществляют свой ежедневный транзит, трип по озёрам страны, приводняясь и взлетая в облаке брызг. А во-вторых, потому, что залезая в нору, как животные, мы будто вызывали к жизни что-то жуткое и тёмное, почти первобытное, нечто, что роднило современного ребёнка, укомплектованного сотовым телефоном, синяками под глазами и компьютерными играми, с первобытным малышом, что выглядывает из убежища в загадочную ночь. Не знаю, ютилось ли оно в нас или в каком-нибудь тёмном уголке земляной норы, но мы страшились этого чувства. Мы держались друг за друга, когда спускались по истёршимся ступенькам, и таким образом каждый как бы напоминал другому: «Не теряйся».

Сашка чуть ли не с испугом смотрела на меня.

– Там не осталось почти никаких следов, Антон. Всё убрали. Только горелое пятно – вот всё, что осталось. Господин

Аалто сказал, что он хочет сравнить Земляную дыру с землёй, чтобы она не стала местом паломничества для таких, как мы.

Господин Аалто представлял местное управление полиции. Это был усатый, дородный, тяжёлый на подъём мужчина, который, казалось, насквозь пропитался духом Шерлока Холмса, Коломбо и Эркюля Пуаро. Его хотелось назвать джентльменом и никак иначе. Чтобы стать героем книг, ему требовалось всего-ничего – громкого преступления, чтобы с триумфом его раскрывать. Всё, что случилось в последний год в нашем городке и что требовало бы вмешательства полиции, можно пересчитать по пальцам одной руки. Кроме того, Аалто не помешало бы немного больше рвения в работе: по слухам, дело о похищении его же собственной фуражки, которую он оставил болтаться на руле велосипеда, пока уединялся за угловым столиком в «Каждодневных Радостях» с эспрессо и булочками, заведённое уже полтора года назад с того времени, как Аалто допросил всех свидетелей, не продвинулось ни на йоту.

Он был хорошим человеком. Говорило об этом хотя бы то, что когда на город опускались сумерки, офицер Аалто пускался в затяжное путешествие по вверенному ему участку на скрипучем, громоздком велосипеде, только чтобы поинтересоваться, как дела у его подопечных и как себя чувствует гипертония тётушки Тойвонен. Выйдя на кухню, можно увидеть, как скользит по стёклам свет его прожектора.

Я насупился.

– Не совсем понимаю, при чём здесь какие-то паломничества. Мы с Томасом были друзьями, и я хочу посмотреть, где он умер... Сашка, ты чего? Не далее как минуту назад ты сама предложила влезть в чужой дом...

– Да знаю я, знаю, – Александра вцепилась в дверную ручку, будто та могла своей формой передать ей какие-то ответы. Пальцы оставляли на лакированном дереве влажные следы. – Но это... понимаешь, это другое.

– Другое... я вижу, – я был самым мистером Подозрительность. Александра никогда не позволяла безнаказанно называть её Сашкой – этим мальчишеским именем, которое я привёз с собой с родины. Следом за мной её пытались так называть другие мальчишки (но не Томас), и для каждого у неё находился ледяной взгляд или тычок. И где, спрашивается, мой? Может, девочке сейчас действительно не до того, но совсем не реагировать на то, из-за чего в прошлом было пролито столько крови...

Я уже всё для себя решил.

– Всё равно хочу туда съездить. С тобой или без тебя, но я загляну ещё раз в Земляную дыру – в последний раз.

Глава 4. Сворачивается в Трубочку Язык

В этот понедельник ребята идут в школу с предвкушением скорых летних чудес. Май заканчивался на тёплой, изредка подмокающей, ноте, но главное не погода, а то, что текущая

дата очень скоро подползёт к нижнему краю календарного листочка. Наступает прекрасное время. Преподаватели рассказывают что-то хорошее, иногда даже весёлое: в общем, треплют языком, на широкую руку транжиря учебное время. По рукам ходит большое красное яблоко, и каждый делает по укусу. На задней парте шелестят обёрткой от шоколадки. Все форточки распахнуты, тёплый ветерок шелестит страницами учебника, листает их, будто пересчитывая. Осталось каких-то двадцать две страницы...

Школа у нас маленькая. Никаких амбиций – всего один этаж, десять аудиторий, учительская и спортивный зал. Сонное здание, похожее по форме на развалившуюся на диване кошку. В таком можно учить детей быть добродушными фермерами и классными соседями, которые в выходной день по утрам ковыряются в автомобильном моторе и слушают блюз, а по вечерам, пошатываясь, возвращаются из пабов.

Учится здесь человек сто пятьдесят, не больше. В третьем классе – так и вообще почти никого, из обычных для каждого года "Эй" и "Би" остался только "Эй", да и тот неполный. Папа рассказывал, что десять лет назад здесь назревал пузырь локального кризиса, и местным парам было не до детей. Опасались за крышу над головой, надо полагать...

Так что у нас можно здороваться за руку со всеми подряд, не разбираясь, с кем здороваешься, а то, что ты переехал из России, знает, кажется, каждый второклассник, не говоря уж о старших ребятах.

Сегодня класс был непривычно тих. Известие облетело всю школу, прямо сейчас, в первые пятнадцать минут первого урока, новость пересказывали тем немногим, кто все выходные просидел за компьютерными играми. Все знали, что мы с Томасом дружили, но мальчишкам никогда не хватает такта, чтобы выразить сочувствие – мне это знакомо не понаслышке. Все просто сидели и молчали, но по скрытым взглядам было видно, как внимательно они за мной наблюдают, как фиксируют каждый вдох и выдох. Разговоры велись на отвлечённые темы, смех звучал нервно и резко, как звук пилы, наткнувшейся на гвоздь. Наверное, что-то подобное было в классе Саши. Я от всей души желал ей её обычного душевного спокойствия.

Сегодня всего четыре урока, но тянулись они так, будто каждый академический час мечтал стать отдельным, самостоятельным днём. Когда нас наконец отпустили, я смылся от желающих «поболтать», наивно полагающих, что я не разгадаю их желание выяснить, каково это, потерять лучшего друга, и, кипя от возмущения, отправился с доской под мышкой к пулу.

Скейт, в особенности неминуемые с него падения, не раз помогали мне снять стресс.

Пул представлял собой не работающий давным-давно бассейн с останками фонтана посередине; все вместе они напоминали увядший цветок с посеревшими от времени лепестками. Вокруг раскинулся целомудренный тенистый парк с

крашенными в синий и зелёный скамейками и тяжёлыми каменными урнами. Никто не знал, почему до этого фонтана до сих пор не дотянулись длинные руки градоправителей, но если кто-нибудь спросит моего мнения, я отвечу: пусть всё остаётся как есть. По пустому бассейну удобно было раскачивать на скейте, он имел покатые стенки, а швы между плитами, которыми выложено дно, можно почувствовать разве что пройдя по нему босиком.

На краю пула сидела Клюква. Я помахал ей рукой.

Клюква лет на пять младше меня, она напоминала маленького длинноногого сверчка. Познакомились мы на этом же самом месте почти год назад, когда я отбил её у каких-то местных подрастающих хулиганов и помог отнять котёнка, которого те взяли в заложники.

– Все зовут меня Клюквой, – сказала она тогда. Без всяких признаков застенчивости сказала и протянула свою маленькую белую ладошку, которую я осторожно пожал.

– Очень хорошо. Я буду звать тебя так же.

С тех пор я часто находил её здесь, собирающей в траве каких-то букашек, играющей на телефоне в игры или смотрящей там же мультики, так, что, следуя по тенистой тропинке со скейтом под мышкой, можно заранее слышать вопли мультяшек. Поначалу я смотрел на неё с раздражением: не хватало ещё, чтобы какая-то соплячка таскалась за мной и компрометировала перед сверстниками. Но она всегда присутствовала здесь будто бы случайно, не канючила, не зада-

вала глупых вопросов, просто сидела и занималась своими делами. Или бродила по округе, рассказывая себе под нос какие-то истории. Когда я приходил кататься не один, а в компании Джейка или Фила, даже не поднимала глаза: по курносому носу ползали зайчики от экрана. Так что в конце концов я начал здороваться сам.

– Привет, Клюква! – кричал я, и тогда она отвечала: махала рукой или что-то бурчала себе под нос. А если игра была не такая интересная, то поднимала глаза, смотрела на меня долгим загадочным взглядом, каким могут смотреть, например, летучие мыши, и говорила: «Привет, Антон».

История с котёнком имела продолжение – вскорости за ним пришли родители малышей, которых я своей руганью на русском довёл чуть не до слёз. Оказалось, котёнок кочевал по рукам вовсе не в том порядке, в котором я предполагал, и причины и следствия следовало поменять местами. Когда я повернулся к малявке за разъяснениями, та спокойно сказала:

– Я просто увидела его и решила с ним поиграться. Кроме того, этот Йонсен – надутый дурак. Не представляю, зачем ему котёнок.

– Ух ты! – восхитился позже Томас. – Настоящий злой гений! Как мегамозг или Карл Безумный. Сделает всё, чтобы получить желаемое, даже если понадобится кого-то использовать. А ты, наивный малыш, и рад помочь... потворствовать распространению мирового зла.

Так и сказал – «потворствовать». Не знаю, где Томас брал такие слова... нет, вернее, знаю – из книжек и Википедии, но у меня, например, подобное никогда не задерживается в памяти.

Томас, в отличие от меня, сразу раскусил Клюкву. А она почувствовала родственную жилку в этом длинном, тощем, лохматом подростке, и пока я катался, падал и получал травмы, как настоящий гладиатор, эти двое вели длинные интеллектуальные беседы, точно... да-да, пресытившиеся зрелищем патриции на зрительском ложе.

Томас иногда ходил со мной в пул или на конюшню, но никогда не попробовал сам заняться каким-нибудь спортом.

– Спорт – это для таких, как ты, – говорил он спокойно. – У меня не хватит ни времени, ни терпения, чтобы отрабатывать падения по какой-нибудь красивой амплитуде.

– А читать Шекспира на английском языке у тебя, значит, терпения хватает? – язвительно говорил я.

– После Шекспира не болят мышцы и не хочется немедленно лечь в могилу и умереть, – веско сказал мой друг.

На самом деле, я хотел ему припомнить не Шекспира, а книгу, которую один раз видел у Томаса на столе. И не припомнил только потому, что не смог точно вспомнить название. Что-то вроде "Кадастровый реестр земельных участков". Ужас, правда?

Томас никогда мне не говорил, кем хочет стать. О том, кем они хотят стать в будущем, могут, наверное, рассуждать

только маленькие дети: у подростков моего возраста в голове только ветер и ничего, кроме ветра. У меня там был спорт: собственно, принципиального отличия от ветра я не видел. У Томаса же там была целая тысяча разных вещей, стремления заниматься чем-то конкретным среди которых не прослеживалось.

Я швырнул скейт на дно бассейна и нагнулся завязать шнурки. Спросил:

– Как дела?

– Ха-ра-шо, – нараспев сказала Клюква.

Сейчас она поймала какого-то кузнечика, оторвала ему ноги, чтобы тот был поспокойнее, и рисовала на экране мобильного вокруг него дом с трубой, вазой на окне, огромной спутниковой тарелкой, и даже сараем.

– Как поживают твои друзья?

Это было чем-то вроде нашей словесной игры. Клюква выглядела человеком, который не нуждается в друзьях.

– Как толстые грязные поросята в хлеве, – обычно отвечала Клюква.

– В хлеву, – поправлял я.

– И там тоже, – парировала Клюква. – Поросей полно везде.

Сейчас она сказала коротко:

– Не знаю.

Я чуть не запутался в шнурках. Что случилось с этим миром, если даже Клюква упускает шанс посмеяться над свои-

ми одногодками... и заодно помочь мне немного развеяться?

Есть люди, которые замыкаются в себе, когда происходит нечто, что размешивает кашу в их котелке. Им нужно сначала съесть эту кашу, не смазывая её маслом отвлечённого общения. Я же – совсем другое дело. Иногда во мне начинает бродить то, что скопилось, и я разговариваю даже с придорожными булыжниками. Я разговариваю, разговариваю и разговариваю, даже если темой послужит колонка для домохозяйек из местной газетёнки. Сейчас как раз Томас стал причиной моей чрезмерной общительности. Не знаю, приятно ли это ему или нет, но ничего с собой поделаться не могу.

– Слушай, Антон, – Клюква аккуратно отложила телефон, и смертельно раненый кузнечик пополз в сторону газона. – Хочу тебя кое о чём спросить. Только пообещай, что не будешь надо мной смеяться.

– Обещаю, – сказал я так, как может сказать взрослый маленькому ребёнку. Разве что по головке её не похлопал.

И сейчас же получил удар под коленную чашечку. Глаза Клюквы пламенели, рыжие волосы превратились в живой огонь. Веснушки как будто бы стали больше. Ноги у неё обуты в колготы и легкомысленные сандалии на тонких ремешках, но намерения были самые тяжёлые.

– Обещай!!!

Она наступала на меня, сжав кулачки.

– Клянусь, – повторил я, на этот раз совершенно серьёзно. – Зачем пинаться-то? Я тебя понял и выслушаю.

Клюква сразу оттаяла. Выставила вперёд нижнюю губу, будто бы размышляя как сформулировать вопрос. Но на самом деле всё у неё давно уже было сформулировано. Такое зло, как Клюковка, никогда не бывает стихийным. Это концентрированное маленькое зло, у которого всё просчитано до мелочей на десяток шагов вперёд.

– Вот послушай: ты общаешься с теми, кто такого же возраста как ты, и даже иногда со мной, хотя я младше тебя аж на пять лет. Малыши играют с малышами – все довольны. Только я одна не знаю с кем поиграть. Всех этих из второго класса хочется только обзывать. Неженки, все до единого, чуть что, сразу в слёзы, – она немного помолчала и довольно неожиданно закончила: – Значит, я такая одна?

Я пошаркал ногами. Посмотрел вверх, где на фоне заполненного каштановыми листьями и облаками неба проносились жуки размером с подушечку пальца и стрекозы.

– Ты же сама не хочешь с ними общаться.

– Они все жутко тупые, – сказала она, а потом внезапно призналась: – Вот ты ничего. Хоть и набиваешь себе шишки как настоящий маньяк, но говоришь как нормальный. Томас тоже хороший. С ним можно болтать хоть весь день.

Я не стал ничего ей говорить про Тома. В любом случае с малявкой ещё рано обсуждать о такие вещи, даже если она каждый день собственноручно лишает жизни до десятку букашек.

– Дети взрослеют очень быстро. Ты и глазом моргнуть не

успеешь, как они тебя нагонят.

– Значит, я топчусь на одном месте? Значит, когда-то я всем буду казаться круглой дурочкой?

– Нет, ну что ты! – я растерялся. – Просто... со временем развитие замедляется, и... слушай, я не знаю точно. Я просто хотел сказать, что всё так или иначе приходит в норму.

– Мама говорит, что я должна играть с другими детьми. Иначе в один прекрасный день я превращусь в камень. Просто пойду куда-нибудь играть, как всегда, сама с собой, и стану камнем.

– Нельзя так говорить... наверное, – я не был уверен. Мама Клюквы имела полное право говорить своей дочери всё что захочет. Тем более что она должна быть хорошим педагогом. Маму Клюквы знали Азалии Маркенсон, она обладала глубоким красивым голосом и вела около года назад на местном радио передачу для детей, в которой рассказывала сказки. По одной сказке каждый четверг. Называлось это действо "Вечер историй для Киттила". Все сказки, как говорили, она читала по памяти, достаточно вольно играя со словами и иногда добавляя туда деталей для атмосферы. Кроме того, атмосферы добавляли всякие подручные средства, которые тётя Азалия использовала в своих постановках: звук, который получался при соприкосновении двух округлых камешков, изображал стук костей и мог напугать любого ребёнка до колик. Песок в бутылке был песком, который скрипел под ногами Синдбада Морехода. Было ещё множество

звучков, источник которых мы не могли идентифицировать, но звучали они до ужаса правдоподобно. Закрыли передачу не потому, что закончились сказки, а потому, что получили некоторое количество жалоб от встревоженных мам, которые выключали радио перед рыдающими и трясущимися от страха малышами. Зато мы, ребята постарше, были порядком расстроены: ничего так хорошо не держит тебя дома в четверг, как хорошая страшилка по радио.

Я подумал о нелёгкой судьбе Клюквы, которой наверняка пришлось слушать все не вышедшие в эфир сказки, и великодушно сказал:

– Если хочешь, мы будем с тобой общаться. Ну, в смысле, я больше не буду делать вид, что ты моя знакомая малявка... при условии, что ты не будешь втягивать меня во всякие дурацкие игры с насекомыми: мне есть чем заняться.

– Ты и Томас?

– Нет, я и... и Сашка, – я подумал, что Клюковке не помешает немного женского внимания. – Помнишь Александру?

– Вы с ней на шабаш, что ли, летаете?

– Ещё чего, – буркнул я. – Никуда я не летаю. Но запомни одно: в камень ты ни за что не превратишься. Всё это самая настоящая чушь.

Я подумал о Томасе. Мы, друзья, были всегда рядом. Может, кто-то из его школьного окружения его и не понимал, но всегда был я и Сашка, и несколько наших общих приятелей, всегда готовых выслушать и поддержать. Даже дурацки-

ми, местами зубоскальными, Томасовыми стихами мы гордились как своими. Что-то помешало ему жить дальше. Я должен выяснить, что это было, не ради праздного интереса, а потому, что должен. Потому, что такая дружба просто не может кануть в никуда.

– Думаю, обойдёмся без этой твоей Александры, – после недолгого раздумья решила Клюква. – Если ты позволишь считать себя моим другом, мне будет не так тяжело общаться со всякими козлами и прочим животным миром. Только пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста – она требовательно взглянула на меня – никогда на исчезай. Никогда.

– Непременно, – великодушно сказал я. Мне даже не приходило в голову, что я могу куда-то исчезнуть.

Дорогой обратно я думал о Клюкве. Удивительно, чтобы ребёнок её возраста задавал такие вопросы. Удивительно, чтобы ребёнок вообще задавался такими вопросами. Но она и правда не похожа ни на кого из своих одноклассников. И я, как немного повидавший мир (самую чуточку; раз в год мы с родителями срывались на машине в Питер, и поездка через одну страну и краешек другой, позволяли мне считать себя путешественником), мог со всей уверенностью заявить, что этой малявке будет трудно найти себе место в нашем городишке. Более того, среди всех известных мне профессий для неё не было ни одной подходящей. Может, когда-нибудь Клюква будет сниматься в кино. Или станет сказочницей, даже лучшей, чем её мама.

Да, положительно лучшей.

Глава 5. Элегия Одиночества на Скрипучих Ступенях

Я совсем уже задремал, накрывшись от света «Жизнью мальчишки» Роберта Маккаммона, как вдруг зажужжал мобильник.

– Время, – поведала мне Сашка. Помолчала с четыре секунды и поинтересовалась: – Мой звонок никто не слышал?

– Мама дрыхнет, как сурок, – сказал я.

– Хорошо. Жду тебя под «тем светом».

Я принялся торопливо собираться.

"Тем светом" у нас назывался потусторонне моргающий фонарь на углу улицы. Он моргает уже почти два года. Жильцы с нашей улицы писали управителю письмо с просьбой наконец починить этот фонарь, но всё чего они добились, это расплывчатого ответа о том, что "установить причину поломки пока не удаётся". По словам управителя, в фонаре стоит полностью исправное оборудование, которое почему-то не желает работать как нужно. Да, и лампочку там менять тоже пробовали...

Томас всегда говорил «на том свете», при этом слегка ухмыляясь. Александра упрямо говорила «под тем светом», аргументируя тем, что так правильнее. На мой взгляд, она просто подозревала, что выражения «встретимся на том свете», сказанное её тихим и абсолютно серьёзным голосом, будет

звучать несколько жутковато.

Папа смотрел телевизор, и я, проходя через гостиную, сказал ему, что отправляюсь на встречу с Сашкой.

– Уже интересуешься девочками? – одобрительно спросил он.

– Не совсем, пап, – сказал я. – Мы просто поболтаем.

Он проворчал что-то вроде «с этого-то всё и начинается».

Наверное, Сашка не одобрила бы такой вопиющей беспечности, так же, как не одобрили бы её герои моих любимых книг. Никто и никогда не предупреждает родителей о том, что у него в планах на вечер стоит парочка не совсем законных вещей. Но я считал, что дорос уже до того возраста, когда нужно думать своими мозгами, и мозги мне подсказывали, что родители, убаюканные атмосферой финского городка, в котором ровным счётом ничего не происходит, и неусыпным надзором офицера Аалто, не будут против, если я ненадолго отлучусь в одиннадцатом часу.

Я влез в ботинки, быстро завязал шнурки. Поколебался насчёт куртки, но в конце концов решил, что лишней она не будет. И не прогадал: снаружи вновь накрапывал дождик. Холодные капли обожгли руку, когда я провёл ей по перилам веранды.

Александра ждала там, где мы договорились. Вокруг странного фонаря буйно росли ромашки, их лепестки загибались в обратную сторону под тяжестью дождевых капель. Фонарь моргал: щёлк-щёлк, включится-выключится, пора-

ботаает с пару минут, и снова принимается за свои многозначительные подмигивания.

Саша сверилась с наручными часами. Сказала:

– Пойдём.

Насчёт того, как мы попадём внутрь, у меня вопросов не возникло. Окно спальни Томаса выходило во двор с крошечным фонтаном, садовыми гномами, теплицами с помидорками черри и кустами, на которых к середине лета наливались сочным красным и пронзительным жёлтым стручки перца. Ясными ночами там всё тонуло в лунном свете, и если смотреть из спальни, кажется, что внизу раскинулся инопланетный пейзаж с дюнами из застывшего подземного шлака. Снаружи дом Томасовой семьи напоминает космический корабль из произведений фантастов середины прошлого века, золотого века фантастики. Сейчас место космических кораблей занимают биотехнологии: о них тоже читать интересно, но я скучаю по путешествующим среди звёзд громадам, по инопланетным чудовищам в трюме и креозотному сну. А звание "Космический карго" до сих пор бережит фантазию, даже если подросшими мозгами понимаешь, что всё это ерунда: не может быть на космических кораблях никаких карго. Даже на торговых. Даже на тех, что сошли ещё с Земных верфей, а не с верфей Колоний. Если и будут они когда-нибудь космическими кораблями, которые смогут улететь дальше, чем до земного спутника, на штурвале их уже не будет места для человеческих рук.

– Вчера вернулись его родители, – говорила Сашка. – Урну привезли. Она... на самом деле большая, ты знаешь? Его отец и водитель катафалка затаскивали её на крыльцо вдвоём, а потом долго отдыхали на веранде. Курили.

– Ты за ними шпионила?

Нет ответа. Я наблюдаю, как лопатки Саши взрезают её дождевик, как по рукавам скользят дождевые капли.

– Почём ты знаешь, что он в комнате... в своей комнате?

Александра пожалала плечами, и я понял, что никакого плана у нас нет. Забраться в чужой дом – это не план. Забраться в чужой дом – это авантюра.

От света фар двух едущих навстречу машин мы спрятались в кустах. Это мог быть пикап офицера Аалто, который в дождливые ночи предпочитал велосипеду старое пахучее сидение и лёгкий джаз на волне Тампере. Но даже если это был не он – не нужно, чтобы посторонние о нас знали. Дети на улице после захода солнца не могут вызвать в людях ничего, кроме любопытства.

Второй этаж. Мы с Томом бесчисленное количество раз проникали в дом после того, как все ложились спать, поднимаясь к нему так тихо, что даже мыши, хозяйничающие на чердаке, не прерывали своей возни. Не то чтобы мы любили гулять допоздна, хотя случалось. Иногда я оставался у него ночевать, а ночные вылазки для двух ребят – самое интригующее, что может быть на свете.

На самом деле, нигде кроме как в комнате Томаса урна

быть не могла. Дома у Гуннарссонов необыкновенно тесно, в коридоре целый миллион вещей, начиная от электропилы и газонокосилки, и заканчивая искусственной ёлкой, гладильной доской, свёрнутым в рулон ковром. Всё, что нельзя было оставить под домом, находило себе место в прихожей, или вдоль перил на лестнице, или под огромной чугунной ванной на львиных ногах. Гостиная большая и светлая, с четырьмя аквариумами, самый большой из которых стоит на возвышении по центру, перетягивая на себя всеобщее внимание. Томас был здесь главным по рыбоводству: он строго контролировал население каждого аквариума, брал пробы воды и лично торжественно затопил замок, который ему подарили на одиннадцатый день рождения. Если урна вдруг окажется в гостиной, нам очень повезёт. Но её там не будет. Слишком много воспоминаний, слишком много хороших тёплых вечеров прошло в мягких скрипучих креслах среди этих аквариумов, вечеров, наполненных солнечным вкусом домашней газировки и запахом слегка застоявшейся воды. Любимые фильмы и мультики, которые мы видели уже десятки раз, приобретали новый мистический оттенок, если смотреть их сквозь шевелящиеся плавники и стремящиеся вверх пузырьки с воздухом. Особенно если это фильмы про подводный мир.

Дом выплыл из сумерек, тих и тёмн, игла в вене мирового космоса, бесконечно струящегося куда-то пространства. Несчастье он прятал глубоко внутри, невзрачный человек

на вечеринке среди веселящихся людей. Справа и слева огни, соседские особняки мерцают, будто кораллы. У Тойвоненов поздний ужин, когда кто-нибудь из них проходит мимо окна, длинная тень падает на палисадник семьи Гуннарссон.

Я знал, что хозяева уже спят: по постелям они отправлялись всегда очень рано, будто какие-то внутренние аккумуляторы со временем пришли в совершенную негодность, едва дотягивая до сумерек; сердце, тем не менее, было не на месте и болезненно сжималось при каждом звуке. По крыше прыгали поздние птицы, переговариваясь длинными писклявыми голосами. У соседей слева – забыл, как их фамилия, – свет с веранды плясал, вновь и вновь подвергаясь атакам многочисленных насекомых.

Травяной ковёр под ногами сменился гравием дорожки. Мы с Томасом крались тут в ночи, как воры, сотни раз: заблудиться было бы так же сложно, как потерять в чашке с чаем чайную ложку. Саша встала, держась за одну из свай, на которую опирался дом, через секунду её ноги перестали касаться земли: здесь высилась пирамида из жестяных бочек, наполненных стружками и чем-то сыпучим. Всеми этому положено находиться под домом, но, словно сдобренное дрожжами тесто, оно выдавилось наружу уродливым наростом. Когда-нибудь мусор из-под дома Гуннарссонов захватит весь город.

– Сашка! – зашептал я. И больше ничего не сказал. Она распахнула окно в гостиную, исчезнув, как чёртик в табакер-

ке. Я полез следом.

Запах слегка застоявшейся воды, который всегда действовал на меня успокаивающе, теперь почему-то вызвал только дрожь в пальцах. Я боялся, до ужаса боялся... даже не столько господина Аалто, сколько выражения, с которым будут смотреть на нас родители Тома, если вдруг обнаружат. Вряд ли объяснение Саши их утешит.

Аквариумы плавают в сумраке, как осколки айсберга. Тиканье часов аккуратно делит тишину на равные промежутки. Как я и предполагал, ничего похожего на погребальную урну.

– Сашка! – я перехватил её руку, когда она потянулась закрыть окно. – Что, если нас поймают!

– Тсс, – она приложила указательный палец к губам и посмотрела на меня холодным, как трамвайные рельсы зимой, взглядом.

– Разувайся, – шёпотом сказала Саша. – У нас мокрая обувь. Придётся ещё здесь прибраться, когда будем уходить.

То, что мной запросто помыкает девчонка, я решил оставить без внимания. Эта девчонка говорит ужасно дельные вещи, будто каждый день после ужина забирается в чей-нибудь дом. А из меня вот лазутчик так себе. Помимо обуви Саша стянула с себя дождевик – он имел тенденцию предательски хрустеть, кода двигаешь руками или плечами – и стала похожа в своей жёлтой водолазке на очищенный банан.

Дом вымер как будто бы не частью, а весь, целиком. Зеркала занавешены, рыбы в аквариумах стоят на одном месте

– вмёрзшие в лёд доисторические существа. Разве что вяло шевелят плавниками. На каждый шаг дом должен отзывать ласковым бормотанием: старое дерево, разохшееся, или, напротив, размокшее от сырости, становилось ужасно разговорчивым, но Саша, похоже, знала, что делала. Я сам был осведомлён о некоторых "слепых" пятнах, что послушно держат язык за зубами, когда на них наступаешь, но Сашка знала о куда большем их количестве. В одном месте она, вытянув ногу, передвинула толстый коврик и осторожно перенесла на него вес своего тела, в другом совершила умопомрачительный прыжок вперёд и сразу же куда-то вправо, в третьем перелезла через стол. Кое-где считала шаги. Я превратился в прилежного ученика каллиграфа... во всяком случае, очень старался, и хотя дощатый настил и – особенно! – лестница иногда выводили под моими шагами рулады, дом оставался тих.

Я выглядывал в каждое окно, мимо которого мы проходили, просто чтобы глотнуть немного *внешнего мира*. Старик Тойвонен курил на крыльце: его трубку не спутаешь ни с чем. Он закрывал чашу ладонью, дожидаясь, пока дым не повалит даже у него из ушей, после чего разводил пальцы, делая глубокую затяжку, и выглядело это примерно как извержение вулкана.

Гостиная – будто дряхлый пёс, храпящий и вздыхающий во сне, и коридор за ним взял на себя все функции хвоста. Он оброс таким количеством всякого сора, нужных и ненуж-

ных предметов, что они неминуемо в один прекрасный день должны были занять всё свободное пространство. (Здесь было необыкновенно весело играть с Томом: игры как будто сами прыгали к тебе в голову со стен, выбирались из-за многочисленных предметов и ждали удобного момента, когда можно взобраться по штанине). Всегда казалось, будто эта семья живёт в прошлом веке и с каждым годом углубляется не в будущее, а в прошлое. Дверь на кухню распахнута настежь, с ужина на столе там осталась грязная сковородка, высокий бокал с водой и несколько газет на стуле. На подоконнике цветы; в коробке из-под литовских конфет, которая всегда находилась на одном и том же месте в уголке стола, груда давным-давно разгаданных головоломок.

Ступеньки... пятая, седьмая и девятая особенно голосистые. Дверь в комнату родителей Томаса плотно закрыта, однако Саша показала мне на щель под ней, и я кивнул: кто-то не спит. Свет настольной лампы не всегда можно увидеть с улицы, но под дверью он ясно различим. Стараемся не дышать. Приступы паники холодными пальцами сжимали мое сердце. Ох, если бы Том был рядом и всё это оказалось всего лишь игрой...

Двигаясь коротенькими, почти голубиными шагами, минуем полосу света. Саша держит меня за руку, ладонь холодная, без малейших признаков пота. Я думаю, что моими можно умыться, даже не смачивая их водой. Но прямо – дверь Томаса, она приоткрыта и за ней финиш, цель нашего

путешествия, которое, как я надеялся, никогда не закончится. Мы входим и, вытянувшись по струнке, плечом к плечу, выстраиваемся перед Лидией Гуннарссон, матерью Томаса.

– Нам очень жаль... – бормочу я, и затыкаюсь, когда Сашины пальцы больно впиваются в мой бок.

Только теперь я замечаю, что она спит. Или не спит, но находится в каком-то неопределённом, неподвижном состоянии, будто деталь фотоснимка. По крайней мере, бессознательном, готов отдать за это зуб.

Она сидела на кровати, спустив вниз ноги, уперевшись локтями в колени и погрузив подбородок в ладони. Глаза закрыты, на веках различимы огромные синюшные вены, и сначала казалось, что глаза открыты, но от долгого обитания в темноте покрылись кожицей. По оконному стеклу ползли капли – дождь, похоже, не на шутку разошёлся, – разлитый на улице свет давал возможность рассмотреть всё в комнате, но делал картинку блёклой, будто чёрно-белой. Значимые и весомые прежде для Томаса вещи становятся карандашными росчерками, рябью и артефактами, которые рисует на фото какая-нибудь дешёвая мыльница, если снимать без вспышки. Маме его немного за сорок, это видно по рельефному лбу и щекам, по трещинкам на губах. Трудно понять, одета она в халат или укуталась в покрывало с софы. Нам с Сашей сейчас нужно на двоих воздуха, как маленькому ребёнку, и мы прекрасно слышим дыхание миссис Гуннарссон, глубокое и спокойное.

Я сумел оторвать взгляд от сидящей на софе женщины и увидел то, что могло быть только Томасом и больше ничем. Под урной с прахом я понимал нечто, похожее на кувшин или вазу, в которую ставят цветы. Я надеялся, что там будет пробка или какая-нибудь затычка, которая помешает праху Томаса соприкоснуться с воздухом и с нашими лёгкими, но теперь все мысли об этом вылетели из моей головы. Не ваза и не хрупкая амфора, как показывают в фильмах, а тяжёлый ящик с рельефными стенками и крышкой, похожей на огромный ограненный драгоценный камень. Таким, наверное, мог быть гроб младенца. Невозможно поверить, что Томас теперь покоится в... в этом.

Александра на цыпочках прошла к урне, осторожно, как девочка, которой позволили погладить дикого зверя, положила руки на крышку. Я не мог заставить себя сдвинуться с места. Так и простоял, обоняя запах тела миссис Гуннарссон, душный, какой-то застарелый запах её волос, пока Саша попрощалась. От неё остался лишь силуэт на фоне окна. Я думал, что волосы миссис Гуннарссон пахнут, как может пахнуть паутина где-нибудь в парфюмерном магазине.

Сашка сделала движение (как будто ловит мотылька), накрыв на столешнице ладонью клочок бумаги. Размером с блокнотный лист, в мелкую синюю клетку – удивительно, что я разглядел это в таком крутом сумраке. И когда дверь распахнулась и кто-то протянул за моей спиной (которая мгновенно взмокла) руку и включил свет, Саша смяла листок и

быстрым движением сунула его в карман джинсов.

– Что вы, ребята, тут делаете?

Мать Томаса вздрогнула, открыла глаза и посмотрела на мужа прямо сквозь мой живот.

– Я? Извини, пожалуйста, но я подумала, может быть, не всё так серьёзно, как нас стараются уверить...

– Я не про тебя, Лидия, – вошедший мужчина мягко, но уверенно отодвинул меня в сторону, опустил руку на голову жены. – Пожалуйста, успокойся.

– В этой книге...

Руки женщины не нашли на коленях никакой книги. Она моргнула раз, другой, машинально разгладила складки на халате. Она выглядела, как человек, пробудившийся после глубокого сна. Наверное, и вправду спала, когда мы вошли.

– Джозеф?

– Да, дорогая. Ты успокоилась? Что *вы* тут делаете?

Мы с Сашей переглянулись. Нам нечего было ответить. Девочка смотрела на Джозефа Гуннарссона и часто моргала, как будто он собирался ударить её по лицу, но не отводила взгляда, в то время как я отчаянно желал сжаться в одну точку. Электрический свет, словно вспышка пламени, уничтожил в помещении всякую загадку. Это была просто комната моего друга, который сжёг себя заживо, облившись керосином, и в ней пока ничего существенно не изменилось. А господин Гуннарссон был просто усталым мужчиной, худым, но с обвисшими щеками и вечной складкой между бровей, ко-

торая, кажется, была всегда, словно там скрывался костяной нарост на черепе. На носу каким-то чудом держались крошечные очки для чтения, которые он прямо сейчас складывал и убирал в нагрудный карман рубашки.

– Простите, господин, – сказала Сашка. – Мы не хотели ничего плохого. Хотели только ещё раз увидеть Томаса.

– Боюсь, этого, увы, уже не получится. О Боже, вы ведь не собирались открыть эту урну?..

В глазах миссис Гуннарссон отразился предмет нашего разговора, зрачки расширились. При свете эта штукавина казалась поистине уродливой, чужеродной, словно нечто, что пронеслось сквозь пространство и время и, не получив ни единой царапины, приземлилось прямо здесь. Том бы никогда не одобрил *это* посреди своей спальни – он любил старые, потрёпанные вещи. Даже «Энтерпрайз» в его фантазиях был нагромождением обожжённого звёздным огнём и побитого астероидами металла.

Отец Томаса вытолкнул нас за дверь. Взяв за руки, отвёл на кухню, где, повинувшись скупым движениям хозяина, тоже зажёгся свет. Отодвинул для нас стулья, достал из холодильника бутылку имбирной газировки и разлил по высоким стаканам.

– Итак, вы забрались ко мне домой.

– Мы не хотели никого напугать, – сказала Саша. – Мы даже не хотели, чтобы нас кто-нибудь видел.

Господин Гуннарссон был высок и чем-то похож на сушё-

ную рыбину. Я уважал его, насколько подросток мог уважать взрослого мужчину. Всегда прям, сдержан, крепкое рукопожатие оставляло по себе ощущение о нём как о человеке, подобном старой каменной плите, осколке, если не древней цивилизации, то эпохи. Улыбка на таком лице могла появиться только в одном случае – если часть кирпичей выпадет из кладки. Но пока он был крепок, так что мы никогда не видели его улыбку (иногда только невразумительные движения уголками губ). Господин Гуннарссон был шведом и хранил у себя на комодке том анекдотов про финнов какого-то допотопного года издания. По словам Тома, отец ему как-то признался, что только эта книга помогает ему выживать среди людей, фамилия которых оканчивается на *-нен*. Он был человеком, давным-давно запершим себя в сейф и до сих пор убирающим своё тело на ночь в ночную рубашку бежевого цвета с простыми белыми пуговицами. Как раз сейчас, не смея поднять глаз, мы имели возможность наблюдать, как собирается на коленях её ткань.

– Не пойман – не вор? – спросил он без тени улыбки.

– Вы нас поймали, – ответила Александра. Она не притронулась к шипучке, я же заливал своей пустыню в горле.

– Он бы, наверное, тоже хотел попроситься с вами, ребята, наедине. Так что всё нормально. Вы могли просто зайти накануне вечером. Или завтра – есть ещё целый день.

Мужчина потёр лоб. Я подумал: он не спит, может быть, уже несколько ночей.

– У нас тут, кажется, перебивала уже половина этого чёртова городка. Все приносят еду, выражают сочувствие. Нам столько не съесть и за два месяца. Вторая половина... все эти старые курицы, которым трудно доковылять до соседнего дома, звонили целый день. Две или три даже сказали, что отправили открытки. Будем ждать с нетерпением, да... Но! – он поднял палец, и пуговицы загадочно сверкнули. Воротник ночной рубашки стоял, будто картонный. – Все друзья Томаса, все, с кем он общался... никто не зашёл. Я всё ещё надеюсь увидеть кого-нибудь из вас, ребята, на похоронах, но я не рассчитывал увидеть вас таким вот образом.

Александра посмотрела на меня, и я сумел заставить свой язык двигаться так, как нужно. Несомненно, газировка пошла на пользу.

– Мы же как дети, господин Гуннарссон. Мы привыкли видеть Томаса живым, и просто не можем принять для себя, что он сейчас в той штуковине. Прийти к вам и выразить сочувствие – значит признать, что Томас мёртв.

– Но он и правда умер.

– Только не здесь, – я дотронулся пальцем до своего лба.

Джозеф Гуннарссон поднял брови. Он выглядел как дремучий богослов, которому рассказали о полётах в космос. Мол, летали, и никакого бога там, наверху, не нашли.

– Вот как? Я был плохим родителем, раз не знаю таких подробностей о де... о подростках.

Я замотал головой.

– Нет, что вы... Вы не были плохим родителем. Томас хорошо о вас отзывался.

– Да, конечно, – Джозеф наконец сел и сразу же растёкся локтями по столу. Его выдержка дала трещину. Прикрыв глаза тяжёлыми веками, он отхлебнул из стакана. – Он был слишком великодушен ко мне. И, наверное, в чём-то я всё-таки ошибся.

Я собрал всю доступную мне силу воли в кулак.

– Это не ваша вина. Это... это из-за... из-за чего-то, чего мы не поймём. Томас никогда не жаловался на жизнь, и у него было много друзей, и... он никому ничего не сказал...

– Оставь, малыш, – резко сказал Джозеф. – Это не твоя забота.

На лестнице слышались шаги. Мы одновременно подняли глаза от своих напитков, чтобы встретить миссис Гуннарссон. Она вошла на кухню, как приведение старого замка, что устало от своей каждодневной службы по развлечению туристов.

– Здравствуй, Антон. Привет, Александра, – сказала она так, будто произносила слова какого-то древнего ритуала. – Простите, я не одета. Вот уж не думала, что вы таким экстравагантным способом заявитесь в гости.

Мы с Сашей отзывались, как эхо в горной долине: «Здравствуйте... Простите...» Я подумал было, что она опять спит, но нет, глаза ясные, хоть и блеклые, словно стёклышки из подзорной трубы.

– Ничего. Вы же пришли проведать Томаса. Я не могу на вас злиться. Ты предложил ребятам ужин? – рассеянно спросила она мужа. – У нас осталась куриная грудка и немного лапши по-мексикански.

– И ещё два-три десятка свёртков с неопознанной пищей, – проворчал её муж.

– Мы всё это подадим к столу после похорон. Разберёмся что там к чему завтра. У меня слишком болит голова, чтобы сейчас об этом думать.

Нам она сказала:

– Похороны послезавтра... или уже завтра? Я совсем потерялась во времени. Приходите.

Я смотрел во все глаза. Обыкновенная женщина, только смертельно усталая. Матери, потерявшие сыновей, в моём представлении должны вести себя по-иному.

– Мы будем, – сказала Александра. Она смотрела на госпожу Гуннарссон во все глаза, будто выяснила, что миссис Лидия на самом деле сложена из бумаги, этакий верх искусства оригами, и теперь отыскивала в её фигуре швы и считала загибы.

– А сейчас, наверное, уже пойдём, – пробормотал я, пнув под столом Сашу.

Тут я не рассчитал – мои пальцы угодили в ногу господина Гуннарссона. Он разбросал их под столом, как канаты по палубе пиратского корабля. Вот уж не думал, что Джозеф Гуннарссон на такое способен: когда-то давно за одним из боль-

ших семейных обедов – кажется, это был день рождения матери Тома – мы играли под столом в странную форму догонялок для контуженых идиотов. То есть в форму, однозначно приемлемую для нас, для самых невозможных в мире детей с вечно драными коленками. И ноги Джозефа Гуннарссона всегда были самыми образцовыми. Они стояли прямо и гордо, как колонны, колени образовывали идеальный прямой угол, в то время как остальные гости иногда давали повод отдавить им пальцы.

Отец Тома встрепенулся, большой попугай с хохолком пестрых волос над головой, сказал:

– Наверное, мне стоит развезти вас по домам? На улице ночь, да и льёт, как будто в небе дырка. Где ваша обувь?

– В гостиной, – сказал я. – Мы поставили их на подоконник, чтобы не натекло на пол... Но домой нас везти не нужно. Мы прекрасно дойдём и сами...

Но господин Гуннарссон настоял. Он упаковался в плащ, джинсы и выходную рубашку, вывел из гаража автомобиль, в мокрых сумерках похожий на прикроватную тумбу.

Когда я зашёл домой, был уже первый час ночи. Родные спали. Если мама и просыпалась, отец, должно быть, сказал, что я на свидании и что меня лучше сейчас не беспокоить. Что-то вроде "представь, если мы отвлечём их в самый интересный момент? Если он как раз готовится её поцеловать, а тут – бах! Звонок! Кошмар, правда? Хорошо, что в наше с тобой время не было сотовых телефонов...". Скажете, по-

разительная беспечность по отношению к детям? Вовсе нет, я назову это здоровым взглядом на жизнь. Что может случиться в глухом финском городке, где у служителя закона велосипед – едва ли не ровесник этого самого служителя, а снегоход, который купил отец мальчишки с соседней улицы, может стать ярчайшим событием за всю зиму... Не во всём это плохо, вовсе нет. Мы можем гулять допоздна, купаться в неглубоком водоёме сколько влезет. Но вот, что я вам скажу – даже если бы мы жили в самом тёмном районе какого-нибудь российского города, это не было бы поводом для родителей запира́ть меня дома. Может быть, европейская действительность и ослабила какие-то болтики у них в голове, но в общем и целом они достаточно адекватные люди. Таковыми родителями в пору гордиться. А вот родители Томаса поставили нас с Сашей в тупик.

Сашин дом выпал из пелены дождя, как будто оброненная каким-то малышом игрушка; он и вправду напоминал игрушку: крыльцо цвета тёмной карамели, небесно-голубая крыша, окна с мозаичными вставками. Джозеф Гуннарссон подождал, пока она исчезнет в дверях и в гостиной зажётся свет, после чего отпустил педаль тормоза. Дорогой мы, все втроём, молчали, но теперь он сказал:

– Бедная девочка. Ей придётся тяжело теперь. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, Антон. У неё появятся наклонности... к действиям не всегда законного характера, и они отнюдь не всегда будут казаться адекватными. Чуть что – не

стесняйся хватать её за руки.

Он сказал это очень сухо, будто пересказывал вычитанное в газете объявление, но у меня по коже побежали мурашки. Джозеф смотрел только на дорогу и держал обе руки на руле. Я хотел что-то сказать, но мы уже стояли у моей подъездной дорожки, а господин Гуннарссон по-прежнему смотрел только вперёд. Я попрощался и выполз из машины в хлюпающий мир.

Глава 6. Сухие Факты Прячутся под Стеклом

Кабинет истории был самым живописным в школе. Самым, как сказал однажды Томас, аутентичным. Среди младшекласников о нём ходили страшные истории – наверное, добрую половину из них запускала Клюква. Это тесная комната, в которой едва умещался весь класс. Кому-то приходилось сидеть по трое за одной партой: обыкновенно это самые смиренные, потому как мы, забияки, драчуны и фантазёры, будучи ограничены одним рабочим пространством, начинали всячески друг другу мешать, пинаться, толкаться локтями и дико ржать.

В окна едва проникал свет: через плотные чёрные гардины даже самое яркое солнце выглядело не ярче лампочки. Когда смотришь на эти гардины снаружи, возникает ощущение, будто здесь всё заросло паутиной, и это не просто красивое сравнение: буквально всё здесь имело право и на паутину, и на вековую пыль, и на вязанку историй и легенд.

Господин Добряк, учитель истории, открыл у себя в кабинете настоящий музей: здесь были различные окаменелости на обитых бархатом стульях под стеклянным колпаком, осколки метеоритов, старинные книги, гарда средневекового бургундского меча, немецкий пистолет, такой, которыми вооружался в качестве табельного оружия младший командный состав; настоящая советская военная форма с каской (её владелец, бывший советский солдат, осевший в Киттила, умер за десять лет до нашего сюда переезда, а форму завещанием оставил господину Добряку). На стендах, в рамках и за стеклом, – исторические справки с датами и вырезки из газет. "Прямые солнечные лучи опасны для экспонатов, – напоминал нам учитель. – Как и любой яркий свет. А раз здесь нам с вами проблематично вести записи, мы будем очень внимательно слушать и запоминать".

Мы были этому только рады. Рассказывал он действительно здорово. Обратной стороной медали было то, что конспект оставался как домашнее задание, поэтому история отнимала больше всего благословенного вечернего времени.

Но сегодня класс почти не интересовал господин Добряк и его хорошо поставленный, глубокий голос – ещё один предмет гордости учителя после коллекции экспонатов.

Отправившись в большую перемену немного побродить в одиночестве по окрестностям, я опоздал, и Джейк, что сидел прямо за мной, подёргал меня за вспотевшую от бега майку. – Ну, что? – спросил я, не поворачиваясь. Я и так уже был

награждён укоризненным взглядом Добряка, который не любил, когда опаздывают на его уроки, и не хотел привлекать к себе лишнего внимания.

Рядом с Джейком, поджарым, точно кусок вяленого мяса на косточке, сидел парень по имени Юсси: крепыш с жидкими светлыми волосами, чей живот упирался в краешек стола, так, что когда ему вздумывалось покашлять, кашель сопровождал скрежет ножек стола по полу. Мы втроём неплохо сдружились ещё год назад, и теперь частенько выбирались вместе покататься на великах или сходить с палаткой в поход.

– Так и думал, что ты не в курсе, – удовлетворённо пробурчал Джейк. – Говорят, из северных лесов пришёл медведь. Господин Снеллман видел, как кто-то большой копался в мусорных баках.

– Кто такой этот Снеллман?

Я бросил взгляд назад. Мальчишки переглянулись, и Юсси пожал плечами.

– Он, наверное, живёт где-то поблизости.

Джейк сказал, поигрывая карандашом:

– Что с тобой Антон? Об этом судачит весь город, а ты как будто только глаза продрал. Зуб даю, сегодня ночью все собаки будут ночевать в домах.

Господин Добряк поднял глаза от своих записей (у него была единственная на весь класс настольная лампа) и ядовито сказал:

– Буду признателен, если вы, молодые люди, немедленно замолчите и не будете мешать мне вести урок.

– Но господин Снеллман с Крайней Еловой улицы говорит, что и вправду видел медведя! – сказал Юсси.

Учитель поправил конструкцию у себя на носу. У него были потрясающие очки, похожие на иллюминаторы военного самолёта, и такие же толстые. Оправа отливала благородной тёмной сталью, дужки держались на болтах, таких, которыми может быть прикручена, к примеру, крышка компьютера к его корпусу. Лицо под стать очкам, квадратное, с кожей цвета свиной шкуры и тёмно-коричневыми пятнами на подбородке и вокруг носа.

– Медведи по весне могут быть совсем без головы. Это, должно быть, довольно молодой медведь. В любом случае, клянусь вам своим авторитетом, что слава его куда более быстротечна, чем слава Леонардо Бруни, чьё жизнеописание мы сегодня с вами будем для себя открывать. Поверьте, это занимательнее чем медведь, а внешне – почти то же самое: видели бы вы какая у Леонардо была борода! Всё, закроем эту тему.

Он обвёл строгим взглядом аудиторию. Юсси сел прямо. Джейк уронил карандаш и, бормоча извинения, полез под стол его подбирать. Кто-то втянул ноги, неловко елозя ими по паркету.

На самом деле господин Добряк хороший, иногда разрешает нам поболтать в своё удовольствие и при этом сам воз-

вышаётся над разговором, серьёзный, как скала. Даром, что метр шестьдесят ростом и ходит с клюшкой. За время пока он разворачивает свои словесные конструкции, можно успеть хорошенько выспаться. Главное, помнить, что в конце концов эти конструкции рухнут именно тебе – да-да, тебе! – на макушку, и, если не будешь достаточно внимателен и находчив, это может обернуться неприятной закорючкой в журнале. Впрочем, вместо правильного ты можешь дать оригинальный или забавный ответ, и тогда учитель, посмеявшись и похлопав тебя по плечу, забирает свой вопрос обратно и настраивает прицел на новую жертву.

Я сидел и думал о том, как коротка людская память. Только сейчас у всех на слуху было самоубийство Томаса, и вот уже какой-то хищник обустривает на его месте в головах сорвиголов берлогу. Они все знали Тома. Может, не так хорошо как я: в их представлении он был слегка чудаковатым, хотя школьным изгоем не был никогда. Наверное, дело в том, что он, при всей своей замкнутости, мог взорвать компанию какой-нибудь особенно удачной шуткой. Кроме того, у него всегда как-то невзначай получалось быть на виду: шевелюра цвета осенних листьев привлекала внимание не хуже горящей в темноте спички.

Что бы Том сказал об этом медведе? Прежде всего, он позаботился бы о подходящей атмосфере. В мире, в котором он жил, медведи не могут просто так выходить из леса и ковыряться в мусорных баках. Их должно направлять древнее

волшебство – то, которое слышится в звоне шаманских колокольчиков и ночных песнях упряжных лаек. Рот у медведя красен от свежей земляники, глаза живые и любопытные, как у человека. И когда он движется из чащи по направлению к человеческому жилью – от открытого огня, будь то свечи или пламя в камине, становится зелёным, будто смотришь на него через цветное стекло.

Значит ли это, что мир теперь изменился? Это уже не мир, в котором жил Томас, это наш мир. Мир, в котором живу я, и Юсси, и Джейкоб, и все-все остальные... Больше всего перемену, наверное, почувствуем мы с Сашей, потому как мы прекрасно знали о Томасовом видении окружающих его вещей и событий.

– Кармазин! Антон! Ты слушаешь меня?

Я поднял голову и узрел над собой Эйфелеву башню. Все эти арки, и перекрытия, и скрипучие балки с бородой ржавчины...

Это всего лишь господин Добряк. Когда он приходил в класс, то вешал трость на старинную вешалку для шляп, на которую вешали все что угодно, кроме шляп, и перемещался между рядами, опираясь на парты и иногда спинки стульев. Сейчас он упёрся двумя руками в мой стол и склонился надо мной. Я вдохнул горький запах лука и редиса. Добряку идёт седьмой десяток, и кожа у него на шее свисает, как у индюка.

В моём кармане завибрировал телефон, и я не нахожу слов, чтобы помешать выстроенной учителем конструкции

рухнуть мне на голову.

– Повтори, что я сейчас сказал, Антон.

– Ну, он во Флоренции учил юриспруденции...

– Кого учил?

– Наверное, учеников... детей... ещё он был основоположником идеи гуманизма и осуждал аскетизм...

– Может, ты связаннее скажешь мне что-нибудь про медведя?

Я молчал. Связаннее, наверное, я бы рассказал что-нибудь про Томаса, но это был бы очень уж неожиданный поворот сюжета.

– Нет, господин учитель.

– Ладно. Я надеялся, что ты хотя бы что-нибудь пошутишь, но...

Добряк замолчал, как будто бы что-то вспомнил. Должно быть, в голову ему пришло, что мне нынче не до шуток. Наконец сказал:

– Некоторые события последней недели не повод отсутствовать на моём уроке – отсутствовать на моём уроке головой, конечно же я имел ввиду. Думаю, стоит поставить тебе заслуженную двойку.

Конструкция всё-таки рухнула. Когда прозвенел звонок, я всё ещё выбирался из-под обломков, и только условные знаки, которые подавал мне Юсси, заставили вспомнить про телефон.

Сообщение оказалось от него самого. Дочитывал я уже

выходя из класса, в то время как Юсси скакал вокруг и не мог дожидаться, пока мои глаза оторвутся от экрана.

– «Охота на медведя»? – спросил я. – Что это значит?

Как обычно, новости выходили из него, как воздух из проколотого шарика.

– Я слышал, что туда с самого утра уехал Аалто. Если тот медведь настоящий, там должны остаться следы, содержимое его желудка, даже шерсть... а может, он сломал о мусорный бак один-два когтя? Мы непременно должны туда поехать!

– Зачем?

Юсси стукнул себя раскрытой ладонью по лбу.

– О чём ты? Хочешь, чтобы мы исключили тебя из компании искателей приключений? Ты давно видел, как Аалто опрашивает свидетелей и держит при себе настоящий полицейский дробовик?

– Почему бы и нет? – вслух подумал я. – Действительно. Это же медведь. Такое не каждый день увидишь.

У господина Аалто, похоже, выдался тот ещё месяц.

– Отлично! – сказал Юсси. – Тогда едем!

– Через тридцать минут, от моего дома, – категорически заявил я. – Нужно ещё кое-что сделать.

– Да ты просто решил отведать мамкиного борща, – заверещал Юс, тыча в меня пальцем. Он выскочил вперёд и пятился перед нами с Джейком, кривляясь, подпрыгивая и пыхтя, как трактор.

– И пельменей, – злорадно прибавил Джейк. – Вы, русские, любите пожрать.

– Ничего не могу поделаться со своими слабостями, – развёл руками я и бегом дёрнул от них по коридору в сторону выхода. Оставалось ещё время, чтобы кое-кого поймать.

Из школы гомонящей, разноцветной толпой выпархивали дети: газ беспорядка и непрекращающегося, бессмысленного шума, выпущенный в атмосферу сонного города каким-то злым гением. В прозрачном воздухе танцевала мошकारа. Даже не скажешь, что вчера был дождь: лужи на асфальте выглядели так же несуразно, как дедовские медали на груди восьмилетнего мальчика.

Я бросил рюкзак на асфальт, исписанный мелками, изрисованный граффити, взгромоздился на него, как коршун на вершину скалы, и стал обозревать окрестности, дожидаясь жертвы. Только что закончился пятый урок – с истории всегда отпускали чуть пораньше, а на географии, напротив, когда из коридоров уже вовсю доносился задорный топот, ребята сидели и, высунув языки, записывали домашнее задание под строгим присмотром мисс Олли. Я специально проверил расписание, чтобы удостовериться, что жертва от меня не упорхнёт. У нас история, у восьмого "Эй" старуха Олли... самый подходящий вариант для встречи.

Сашка была на год старше, и училась, соответственно, классом выше.

Первыми вышли мальчишки. Волокли свои рюкзаки, как

докучливый хлам, перебирали в карманах бесконечные мелочи, важные для любого мальчишки: кубики, железяки, бумажки, открывашки для содовой, сотовые телефоны. На ходу распутывали наушники. Они не слишком отличались от наших семиклашек. Наши, может, чуть больше походили на поджавших уши в стремительной скачке лисят.

Девочки были уже совсем другие. Будто... нет, я не знаю даже, как описать эти перемены. Наверное, очень больно, когда твои кости сами по себе вытягиваются, а мышцы становятся накрученными на гитарный гриф струнами. Если бы человек менялся в течение жизни так, как меняются с пятого по девятый класс девочки, в учебниках истории было бы всё по-другому. Я решил как-нибудь помечтать насчёт того, чтобы заделаться писателем-фантастом.

Среди девчонок, похожих на стайку разноцветных суетливо щебечущих попугайчиков, я разглядел взмах вороньих крыльев – Александра с расчёсанными на прямой пробор чёрными волосами хотя и была вместе с остальными, но держалась так отстранённо, что сразу было понятно: есть они, а есть она.

– Эй!

Однокашники Саши удостоили меня минимальным вниманием. Девушки, как обычно, похихикали между собой над моим акцентом. Зато Сашка остановилась и в упор посмотрела на меня.

Я схватил добычу за рукав, оттащил к своему рюкзаку.

– Привет, – сказала она. – Отпусти. Больно же.

– Ага, – сказал я и разжал руку. – Есть разговор.

– Что за разговор? – спросила она неохотно. Перевесила сумку с тетрадками на другое плечо. – Если это опять насчёт того, чтобы куда-нибудь залезть, то я...

Постой-постой! Это ведь она подбила меня на то, чтобы забраться в комнату Томаса. Однако я не стал спорить. Рюкзак взлетел и устроился на сгибе моего локтя.

– Пошли, – сказал я. – Как сегодня поживает старуха Олли? Опять не услышала звонка?

Сашка пожалла плечами. Она одета в узкие брюки и пиджачок с белой рубашкой, и напоминает летучую мышь, завернувшуюся в свои крылья. На подбородке замазан тональным кремом прыщ. Уши проколоты, но ни разу – ни в школе, ни вне её – я не видел в них серёжек. Она в простых удобных балетках, и если я встану на цыпочки, то на пару сантиметров превзойду её в росте.

– От нас она не требует сатисфакции.

– Чего? Вы на саблях, что ли, дерётесь?

– Просто не даём ей повода обижаться на нас. Она ведь очень обидчивая особа. Мы сидим смирно и спокойно записываем задание.

Я вспомнил скрип стульев под нашими наэлектризованными задницами, когда там, в коридоре, как сладкоголосая сирена, поёт звонок. Мы не в силах противиться его зову, а старуха Олли грохает указкой по столу, как будто битой

по стеклу автомобиля, и орёт: "Сидеть!". Звуки в классной комнате заглушают звонок, но топот бегущих по коридору младшеклассников не заглушить ничем. От него буквально выворачивает наружу.

"Ну когда же, когда? – вопрошает каждый сидящий за партой, – Хватит пыток!"

Старуха Олли в последний раз достаёт из ножен свой отравленный кинжал – язык, то есть, – и диктует: "К завтрашнему дню подготовить..."

А они, значит, сидят спокойно и пишут.

– Но она же всё равно держит вас это время.

– Да, но она любит нас. Говорит, что более спокойного класса во всей школе не сыскать.

Я вздрогнул. Если гнев мисс Олли так ужасен, какова должна быть её любовь?

Мы вышли с территории школы, наверное, самые последние в целом мире. Удостоверившись, что нас никто не слышит, я сказал:

– Я узнал его, тогда, в доме у... у семьи Гуннарссон. Листок из блокнота Тома – вот что это. Ты спрятала его в кармане.

Она помолчала.

– Да. Томаса. Называй его Томасом, пожалуйста. Он уже на том свете и заслужил, чтобы к нему относились уважительно.

В своё время я извратил имя друга так же, как позже Са-

шино – сократил его до Тома, но, в отличие от неё, у него не возникало ко мне претензий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.